

ВЕСТНИК

ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Серия «Гуманитарные науки»

Вып. 1, 2008

«Филология»

Научный журнал

Издается с 2000 года

Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-16954 от 5 декабря 2003 г.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

В. Н. Егоров, д-р экон. наук
(председатель)
Д. И. Польшинский, д-р ист. наук
(зам. председателя)
В. И. Назаров, д-р экон. наук
(зам. председателя)
Л. В. Михеева (ответственный секретарь)

К. М. Авербух, д-р филол. наук (Москва)
Ю. М. Воронов, д-р полит. наук
Н. В. Усольцева, д-р хим. наук
К. Префке, профессор (Германия)
Ю. М. Резник, д-р филос. наук (Москва)
О. А. Хасбулатова, д-р ист. наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Л. Н. Таганов, д-р филол. наук
О. М. Карпова, д-р филол. наук
А. Н. Таганов, д-р филол. наук
И. А. Хромова, канд. филол. наук
Э. В. Кромер, канд. филол. наук

Над выпуском работали:

директор издательства *Л. В. Михеева*
редакторы *О. В. Батова*, *О. В. Боронина*,
О. А. Кручинина, *О. Я. Литвак*
технический редактор *И. С. Сибирева*
компьютерная верстка *Т. Б. Земскова*
обложка *Р. Е. Круглов*

ISBN 978-5-7807-0701-1

© ГОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Литературоведение

Анцыферова О. Ю. Имеет ли литературное
воображение расовые корни? (Американский
африканизм Тони Моррисон) 3

Ермолаева Н. Л. О слове «судьба» и его си-
нонимах в творчестве И. А. Гончарова 1830—
1840-х годов 13

Комарова Е. А. Пространственно-временная
организация романа Ж.-К. Гюйсманса «В пу-
ти» 20

Лакербай Д. Л. Поколение свободы: к вопро-
су об «Ивановской региональной поэтической
школе» конца XX века 29

Синохина И. В. Истоки словесной стихии в
творчестве Н. И. Колоколова 43

Страшнов С. Л. Особенности восприятия и
анализ информационных медиатекстов 57

Языкознание

Бабаева Р. И. Междометия в обиходном дис-
курсе (На материале немецкого языка) 72

Вансяцкая Е. А. Особенности выражения эмо-
циональных реакций различных видов с помо-
щью невербальных компонентов коммуника-
ции в речи коммуникантов-девочек 80

Denisov K. M. Factors of Variation in Language
Acquisition 85

Кокурина И. В. Отражение концепта *Zeit* в
паремиях немецкого языка 90

Таганова Т. А. Национальная идентичность
как объект современной лексикографии 94

Ужова О. А. Культурные ассоциации в лин-
гвострановедческом словаре 101

Хуснутдинов А. А. У истоков русской фра-
зеологии и фразеологии 107

Рецензии

Taganova T. A. Rec. ad op.: Jenkins J. English as a Lingua Franca: Attitude and Identity. Oxford: Oxford University Press, 2007. 284 p. **126**

Фархутдинова Ф. Ф. О фразеологии по-новому: Рец. на кн.: Фокина М. А. Фразеология в русской повествовательной прозе XIX—XX веков. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2007. 378 с. **128**

Хроника

VII Международная школа-семинар «Современная лексикография: глобальные проблемы и национальные решения» **135**

Дни российско-немецкой дружбы — 2007 в Иванове **138**

Сведения об авторах **141**

Информация для авторов «Вестника Ивановского государственного университета» **142**

**ВЕСТНИК
ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Серия «Гуманитарные науки»

Вып. 1, «Филология»

Подписано в печать 25.03.2008 г.

Формат 70 × 108¹/₁₆. Бумага писчая. Печать плоская.

Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 12,3. Тираж 300 экз.

Издательство «Ивановский государственный университет»

✉ 153025 Иваново, ул. Ермака, 39

☎ (0932) 35-63-81. E-mail: publisher@ivanovo.ac.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Литературоведение

- Анцыферова О. Ю.** Имеет ли литературное воображение расовые корни? (Американский африканизм Тони Моррисон) **3**
- Ермолаева Н. Л.** О слове «судьба» и его синонимах в творчестве И. А. Гончарова 1830—1840-х годов **13**
- Комарова Е. А.** Пространственно-временная организация романа Ж.-К. Гюисманса «В пути» **20**
- Лакербай Д. Л.** Поколение свободы: к вопросу об «Ивановской региональной поэтической школе» конца XX века **29**
- Синохина И. В.** Истоки словесной стихии в творчестве Н. И. Колоколова **43**
- Страшнов С. Л.** Особенности восприятия и анализ информационных медиатекстов **57**

Языкознание

- Бабаева Р. И.** Междометия в обиходном дискурсе (На материале немецкого языка) **72**
- Вансяцкая Е. А.** Особенности выражения эмоциональных реакций различных видов с помощью невербальных компонентов коммуникации в речи коммуникантов-девочек **80**
- Denisov K. M.** Factors of Variation in Language Acquisition **85**
- Кокурина И. В.** Отражение концепта Zeit в паремиях немецкого языка **90**
- Таганова Т. А.** Национальная идентичность как объект современной лексикографии **94**
- Ужова О. А.** Культурные ассоциации в лингвострановедческом словаре **101**
- Хуснутдинов А. А.** У истоков русской фразеологии и фразеологии **107**

Рецензии

- Taganova T. A.** English as a Lingua Franca: Attitude and Identity by Jennifer Jenkins (Oxford: Oxford University Press, 2007. 284 p.)
- Фархутдинова Ф. Ф.**

Хроника

VII Международная школа-семинар «Современная лексикография: глобальные проблемы и национальные решения»

Дни российско-немецкой дружбы — 2007 в Иванове **138**

Сведения об авторах

О. Ю. Анцыферова

ИМЕЕТ ЛИ ЛИТЕРАТУРНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ РАСОВЫЕ КОРНИ? (Американский африканизм Тони Моррисон)

Концепция американского африканизма, разработанная лауреатом Нобелевской премии американской писательницей Тони Моррисон в эссе «Играя в темноте: белизна и литературное воображение» (1992), рассматривается в социокультурном контексте 1990-х и с точки зрения ее актуальности для истории литературы США.

The concept of American africanism worked out by the Nobel Prize winner Tony Morrison in her essay «Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination» (1992) is analyzed in the cultural context of 1990-s. Its validity for the literary history of the USA is problematized.

Имея достаточно длинную историю, восходящую к XVIII веку, афро-американская литература в последние десятилетия заняла особое место на литературном ландшафте США. «Третий черный ренессанс», заявивший о себе и в литературе, и в литературоведении, был связан с рядом социокультурных причин, одной из которых стали так называемые культурные войны, приведшие к пересмотру литературного канона. В постмодернистском американском культурном пространстве на смену устоявшемуся *классическому* канону, репрезентирующему лишь знаковые фигуры WASP (White Anglo-Saxon Protestants), приходит множество канонов, представляющих интересы ранее маргинализированных групп (женщин, этнических и сексуальных меньшинств). В формирующемся мультикультурном пространстве особенно внятно заявили о себе афро-американские деятели культуры. Институционализация афро-американского канона знаменовалась выходом в свет в 1997 году Нортонской антологии афро-американской литературы под редакцией Г. Л. Гейтса (младшего) и Н. МакКей [6]. Афро-американские писатели становятся лауреатами престижных литературных премий, а знаком поистине мирового признания стало присуждение в 1993 году Нобелевской премии писательнице Тони Моррисон. Подъем социокультурного статуса афро-американской литературы выразился и в расширении ее читательской аудитории: в отличие от предыдущих десятилетий она перестала ориентироваться лишь на этническое меньшинство и глубиной психологических прозрений, объемностью философского осмысления мира, стилистической изощренностью и жанровым разнообразием преодолела этническую ограниченность и завоевала читательскую аудиторию во всем мире. Осознание собственной идентичности в контексте мультикультурного мира позволило с новой глубиной осмыслить сложность взаимоотношений между черными и белыми в американском обществе. Джеймс Болдуин писал: «Это не просто взаимоотношения угнетателя и угнетенного, хозяина и раба, их природа не сводится к ненависти; в моральном и фигуральном смысле это *кровные*

отношения, это, возможно, самая глубинная реальность духовной жизни США, и мы не сможем развязать этот узел до тех пор, пока не оценим в полной мере силу страдания, ужаса и любви, на которых они основаны» [2, р. 33].

Заняв одно из доминантных мест в культурном пространстве США, афро-американские писатели и литературоведы ныне пытаются определить специфику собственной культуры и ее взаимоотношений с другими культурами, в особенности, конечно, с европоцентричной культурной традицией белых американцев. Особый интерес в этой связи представляет попытка писательницы и литературоведа Тони Моррисон в своем эссе «Играя в темноте: белизна и литературное воображение» предложить собственную концепцию истории литературы США: даже несмотря на тот факт, что ее главными действующими лицами вплоть до XX века оставались белые писатели, афро-американское присутствие оказывало на их творчество столь сильное, хотя и подспудное, влияние, что пренебрегать его изучением — значит искажать реальную картину литературного процесса. Как художник слова, активно экспериментирующий с его творческим потенциалом, и как университетский преподаватель (Гарвард, Принстон), размышляющий о механизмах культурного подавления, функционирующих в языке, Тони Моррисон ставит цель рассмотреть, как в текстах белых писателей заявляют о себе «скрытые признаки расового превосходства, культурной гегемонии и дистанцирования Другого» [5, р. X]. Она признается, что, будучи афро-американкой, сама скорее склонна романтизировать, чем демонизировать, «черное» и представлять в невыгодном свете «белое». Иначе говоря, язык не может быть бесстрастным, объективным, и свою задачу она видит в том, чтобы «освободить язык от свойственного ему зловещего, подчас лениво-инертного и почти всегда предсказуемого использования расовых оков» (XI).

Как автор литературоведческого эссе она сочетает в себе писателя и читателя и в этом двойственном качестве оказывается особо чутка к работе *воображения* и, в особенности, к тем случаям, когда литературное воображение словно пробуксовывает, будучи сковано, загрязнено стереотипами. Между тем настоящее литературное произведение, созданное не для «одноразового использования», но для новых и новых перечитываний и интерпретаций, предполагает существование неких общих (универсальных) ценностей (a shareable world) и бесконечно гибкого языка (an endlessly flexible language) (XII). Конечно, оба заявленных условия бытования литературных текстов в известной степени проблематичны или, если угодно, утопичны. Хотя сама Тони Моррисон нигде прямо не высказывается об этом, но сама риторика ее рассуждений, выливающаяся порой в череду вопросов без ответов, свидетельствует как раз об этом.

Размышляя об истории литературной рецепции, Тони Моррисон отмечает, что независимо от расы автора практически вся американская словесность неизменно адресовалась белому читателю. Как писатель-литературовед она ставит перед собой следующие вопросы: в каких случаях индифферентность к вопросам расы (или, напротив, осознание их) обогащает интерпретационный аппарат исследователя, а когда, наоборот, обедняет его? Что влечет за собой в мультирасовом обществе США позиционирование себя в качестве автора, стоящего *над* расовыми различиями? Что происходит с литературным воображением черного автора, который на некоем уровне всегда осознает,

представляет ли он в культуре собственную расу или же, как бы это парадоксально ни звучало, «расу читателей», которая полагает себя «универсальной», безрасовой? Иными словами, как конструируется «белое» и «черное» в литературе и каковы последствия этих конструктов? Как проявляют себя в литературе, претендующей на звание «гуманистической», глубоко укорененные в языке расовые (не расистские!) смыслы? Когда культуре, осознающей свою расовую неоднородность, удается на самом деле приблизиться к этой высокой цели — универсальности? Когда не удастся и почему? Жизнь в стране, народ которой решил для себя, что его жизненные установки будут сочетать индивидуальную свободу с механизмами безжалостного расового порабощения, представляет собой уникальное поле для осмысления подобных вопросов (XII).

Каноническое американское литературоведение основано на молчаливом соглашении о том, что американская литература представляет собой своеобразный заповедник белых мужчин, которые абсолютно игнорируют всепроникающее присутствие черных в США. И это соглашение принято касательно народа, который появился на американском континенте гораздо раньше, чем какой-либо из известных писателей, и стал, по убеждению Тони Моррисон, одной из самых радикальных подрывных (пусть закамуфлированных) сил в национальной литературе. Размышления об этом «черном присутствии» занимают центральное место в эссе Моррисон. Внутренняя специфика американской литературы, подразумевающая сочетание таких свойств, как индивидуализм, мужественность, социальная вовлеченность на фоне исторически обусловленной изоляции, болезненно острая и неоднозначная нравственная проблематика, тема невинности в сочетании с одержимостью аллегорическими отображениями смерти и ада, сложилась, по мнению Моррисон, под воздействием темного, неизменного, полного смысла африканского присутствия (5). Формирование нации в таких условиях сопровождалось созданием некоего закодированного языка и системы сознательных умолчаний о том, что касалось расовой двусмысленности и моральной уязвимости, составлявших суть национального самосознания. Литература вплоть до XX века прибегает к тому же закодированному языку и умолчаниям. В этих значимых и недооцениваемых умолчаниях, в разительных противоречиях, в перегруженных деталями конфликтах, в том, как белые писатели населяют свои произведения знаками (телесными и духовными) «черного», — можно обнаружить либо подлинное, либо сфабрикованное африканское присутствие, которое имело огромное значение для формирования американского самосознания. Это присутствие афро-американцев, определяющее, с точки зрения Тони Моррисон, глубинную суть американской литературы, она называет **«американский африканизм»**.

Американская ветвь *африканизма* (под которым Моррисон, вслед за философом Валентином Мудимбе, понимает комплекс знаний об Африке, ее культуре и населении) формировалась в условиях жесткого идеологического диктата и империалистического подавления, и это определило такие ее качества, как настойчивость в самопроявлениях, услужливость (сервильность), самоутверждение, скрашенное дружелюбием, и — вездесущность. В условиях удаленности от Европы (что несколько ослабляло ее культурную гегемонию) самосознание американской культуры крепло и упрочивалось благодаря

осмыслению себя в противопоставленности африканизму (8), само присутствие которого тщательно ретушировалось посредством тщательно продуманных стратегий (9).

Среди языковых стратегий, используемых в художественной прозе при создании образа черных, Т. Моррисон выделяет следующие:

1. **Стереотипизация**, позволяющая автору создать беглый и достаточно однозначный образ, не нуждающийся в подробных описаниях, даже если бы они могли оказаться полезными в повествовании. Стереотипизация освобождает автора от ответственности за правдоподобие или точность изображения негра.

2. **Метонимическое замещение**. Прием сулит многое, но фактически дает очень мало. Он рассчитан на готовность читателя стать соучастником в осуществляемой подмене. Цветовой код и другие внешние свойства становятся *метонимиями*, которые скорее вытесняют, чем помогают раскрыть нечто новое в образе афро-американца.

3. **Метафизическая конденсация**. Она позволяет автору подавать социально и исторически обусловленные различия как различия универсальные. Приравнивание людей к животным исключает полноценный человеческий контакт и общение; сравнение речи с хрюканьем или другими звукоподражаниями исключает возможность коммуникации.

4. **Фетишизация**. Этот прием оказывается особенно действенным, если надо возбудить эротические страхи и настоять на коренном различии там, где его фактически не существует. Таким постоянным фетишем является, например, кровь: черная кровь, белая кровь, чистота крови; чистота белой женской сексуальности, греховность африканской крови и сексуальности. Стратегия фетишизации часто используется для абсолютизации цивилизации и дикости.

5. **Антиисторический аллегоризм повествования**, который приводит скорее к навязчивой предрешенности образа, чем к раскрытию смысла. Карсон Маккалерс в романе «Сердце — одинокий охотник» использует аллегорический образ в системе персонажей для того, чтобы «оплакать неизбежность конца и бесплодность диалога». Герман Мелвилл также прибегает к аллегориям: белый кит, расово неоднородная команда, черно-белые пары персонажей, вопрошания к белому капитану, оставшемуся лицом к лицу с непроницаемой белизной, — для того чтобы проанализировать иерархические расовые различия. Эдгар По использует тот же прием аллегоризации в «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» не для того, чтобы обнажить и исследовать противоречия, как Мелвилл, но чтобы избежать и одновременно зафиксировать тупик, отчуждение, *nonsequitur*, которыми чревато расовое неравенство. Уильям Стайрон открывает и завершает свою книгу «Признания Ната Тернера» замкнутой «белой структурой», служащей аллегорией неудачи, на которую обречена попытка писателя преодолеть барьер между белым и черным сознаниями.

6. **Использование искаженного, неправильного языка, полного повторов**. Этот стилистический прием обозначает «потерю контроля над текстом, которую следует приписывать скорее объектам, описанным в тексте, нежели механизмам самого текста» (10).

Для того чтобы обнаружить и сформулировать эти стратегии, Моррисон пришлось проанализировать и произведения белых американских писа-

телей, обращающихся к образу негра, и осмысляющие их литературоведческие работы.

Одной из первых критических работ по интересующей Т. Моррисон проблематике, попавших в ее поле зрения, была статья 1936 года «Образ негра и негритянский диалект у По». В гордом сознании своей расовой беспристрастности, по ироническому замечанию Моррисон, автор этой статьи Кили Кэмпбелл, начинает ее следующей фразой: «Несмотря на тот факт, что По родился на Юге и провел свои самые плодотворные годы в Ричмонде и Балтиморе, у него мало что есть сказать о “черномазых” (darky)» [3, p. 106], и это расистски заряженное слово вызывает у афро-американской исследовательницы сомнения в научной объективности ученого.

Одну из главных причин необъективности картины африканского присутствия в американских литературоведческих и культурологических исследованиях Моррисон видит в их асимметричном характере: все они до сих пор изучали влияние расизма на его жертву, на *объект* расистской политики. В то время как столь же необходимо рассмотреть влияние расистской идеологии и на ее *субъектов* — тех, кто проводил расистскую политику в жизнь, на *не-черных* (11). С точки зрения Моррисон, в литературе США нет и не может быть расово нейтрального дискурса: и черные, и белые писатели, живущие в расово неоднородном американском обществе, не могут избежать использования языка, зараженного расовыми стереотипами, и самого внимательного изучения требует та работа, которую предпринимают писатели, чтобы освободить свое воображение от этих лингвистических тенет (13). Тони Моррисон, разумеется, права, когда утверждает, что попытка проследить то, как в национальной американской литературе формировался и конструировался образ афро-американца, не только представляет интерес в силу своей несомненной научной новизны, но и обладает бесспорной актуальностью, ибо позволяет воссоздать более полную и объективную картину истории американской литературы (48). (Справедливости ради следует отметить, что самой Тони Моррисон порой этой научной объективности не хватает.)

Эссе содержит ряд важных методологических замечаний о взаимодействии «белой» и «черной» составляющих американской культуры. Размышляя о природе возможных влияний афро-американского присутствия на творчество белых писателей, Моррисон, верная своей концепции, что любой художник в поле культуры подвержен воздействиям, которые он необязательно осознает, подчеркивает, что эти влияния не определяются исключительно личными встречами писателя с афро-американцами. Ни в коем случае нельзя забывать о «невольничьих повествованиях», которые пользовались невероятным успехом в XIX веке. Кроме того, пресса, предвыборные кампании политических партий основывались на дискурсе рабства и свободы. Рабство было самым взрывоопасным вопросом для политического сознания нации. «Как можно было говорить о прибыли, экономике, труде, прогрессе, суфражизме, христианстве, фронтире, образовании новых штатов, освоении новых земель, образовании, транспорте (грузовом и пассажирском), военных делах — обо всем, что составляет жизнь страны, — не имея в качестве референта, составляющего самую сердцевину дискурса, сердцевину всех определений, присутствие в стране африканцев и их потомков?» (50). Это было абсолютно невозможно, и это привело к особому использованию языка, который был предназначен скорее для замалчивания этого присутствия, чем для

его артикуляции и осмысления. Развивая мысль Фредерика Джеймисона о нарративе как особой эпистемологической форме, неизбежно идеологически заряженной [4], Моррисон отмечает, что в американской культуре XIX века сформировался некий доминантный, господствующий нарратив, который был предназначен для африканцев или говорил о них. Этот доминантный нарратив, легитимизирующий существующую расовую иерархию, не допускал диалогических отношений с самими афро-американцами. Как бы ни были популярны «невольничьи повествования», какое бы влияние они ни оказывали на аболиционистов, функция этого жанра словесности сводилась лишь к психологическому освобождению их авторов. «Невольничьи повествования» не могли поколебать или разрушить доминантный нарратив. Молчание черного субъекта было важнейшим признаком словесности того времени.

Характерно, что замалчивание литературоведами афро-американского присутствия в произведениях белых писателей Тони Моррисон сравнивает с «истерическим нежеланием замечать» (14) феминистский дискурс и нежеланием канонического литературоведения размышлять о том, как и почему находили (или не находили) выражение в литературе чувства и мысли женщин. В своих выводах о непреходящей расовой заряженности языка Моррисон, по сути, использует аргументы Вирджинии Вулф, которая в эссе «Своя комната» писала о том, что особая женская тематика, особый женский опыт требуют особых, новых средств художественной выразительности: «Возможно, первое, что обнаружила женщина, взяв перо, — ей не от чего оттолкнуться в языке. Все великие прозаики, подобные Теккерею, Диккенсу, Бальзаку, писали естественной прозой — ходкой, выразительной, без вычурности и излишеств. За основу они брали ходовую сентенцию своего времени... чисто мужское суждение. Куда с ним женщине? Шарлотта Бронте, при всем ее таланте, спотыкалась и падала с этим нескладным оружием. Джордж Элиот натворила с ним бед...» [1, с. 130]. Освоение новых художественных пространств, несомненно, должно сопровождаться художественным поиском и экспериментами в области художественного языка: «Нам надо войти в свою комнату... Только прежде чем мы войдем и расскажем, что происходит, когда женщина оказывается в своей стихии, английской речи придется сначала сильно порастянуться и пробить потолок пролетами новых понятий» [1, с. 137].

В своем эссе, сочетающем историко-литературный и теоретический подходы и отмеченном скорее идеологической пристрастностью, нежели научной объективностью, Тони Моррисон намечает следующие возможные направления исследования образа негра в литературе США. Первое: образ афро-американца как своеобразный суррогат (двойник), способствующий осмыслению белыми авторами самих себя. Она настаивает на саморефлексивности образа афро-американца, создаваемого белыми (52). Конструирование образа африканца — процесс рефлексивный, отражательный; это особый способ размышления белого автора о самом себе, глубокое исследование страхов и желаний, которые гнездятся в его сознании (17).

Второе, что требует литературоведческого анализа: каким образом использование **негритянского диалекта** вначале маркирует отличие, а в более поздних произведениях сигнализирует о модернистских изменениях художественного сознания. Здесь возникает целый комплекс вопросов: каким образом диалог черных персонажей конструируется как чуждый, остраивающий

диалог, понимание которого специально затруднено посредством искаженной орфографии? Как негритянский диалект способствует напряженному противопоставлению речи и молчания? Как он используется для того, чтобы обозначить когнитивный разрыв между речью и текстом, чтобы акцентировать классовые различия и инаковость и одновременно утвердить привилегию и власть? Как он используется в качестве маркера запретной сексуальности, страха перед безумием, отчуждения и ненависти к самому себе? И, наконец, специального рассмотрения требует вопрос о роли негритянского диалекта, ассоциативной образности, заложенной в нем, и менталитета, который он отражает, для искусства модернизма с его сверхусложненностью (52).

Третье, что следует изучить: как образ африканца используется для того, чтобы живописать и придать большую рельефность конструированию культурного концепта «белизны» со всеми ее импликациями. В литературоведении недостает исследований того, как черные персонажи служат для более яркой обрисовки белых героев.

Четвертое, на что должны обратить внимание литературоведы, это манипуляции, которым подвергается в творчестве белых художников африканский нарратив, под которым Моррисон понимает историю чернокожего, рассказывающую о его опыте отверженности и/или порабощения. Основная функция африканского нарратива — медитация, одновременно и рискованная, и благополучно дистанцированная, медитация о собственной человеческой сущности. Этот нарратив используется белыми писателями в качестве дискурса для рассуждений об этике, социальных и универсальных кодах поведения, о цивилизации и разуме. Литературоведческие работы такого толка показали бы, как африканский нарратив становится инструментом для конструирования белыми истории в противовес отсутствию корней и собственного культурного контекста у черных (53).

Не менее плодотворным было бы исследование еще одной из функций образов афро-американцев в «белой» литературе. Это касается того, что не упомянутый, но, несомненно, известный Тони Моррисон М. М. Бахтин называл «карнавализацией». «Актеры-менестрели накладывали на лицо слой черной краски, которая позволяла им говорить вещи, немислимые и табуированные в устах белого человека. Подобно этому белые писатели могли использовать образ чернокожего для того, чтобы сформулировать и проиграть в своем творческом воображении вещи, запрещенные американской культурой (66).

В методологическом плане эссе Тони Моррисон интересно сочетанием литературоведческого анализа с теоретическими выкладками, обосновывающими всепроникающее присутствие черных в американском литературном каноне.

Вторая часть эссе озаглавлена «Романтизируя тень». Предпосланная ей цитата из поэмы Р. П. Уоррена «...тени — больше людей и чернее, чем негры» не только проясняет смысл заголовка, но и наглядно иллюстрирует особенности восприятия белым писателем (Уорреном) афро-американцев: они, во-первых, нечто иное, чем люди, а во-вторых, служат мерилем мрака и темноты. Здесь предметом анализа становится проза Эдгара По, причем не новелла «Золотой жук», в которой традиционно обнаруживают одну из первых словесных репрезентаций афро-американца в литературе США, а «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», где черное присутствие носит гораздо более завуалированный характер и требует от автора эссе весьма

изошренного литературоведческого анализа. Образы ослепительной, непроницаемой белизны в описании путешествия к Южному полюсу, казалось бы, географически оправданы и не требуют специального обоснования. Однако Моррисон вновь идеологически связывает присутствие этих образов с необходимостью затушевывать черное присутствие (страх темнокожего туземца Ну-Ну перед белизной и его смерть). В сущности, семантическая насыщенность романтической образности По действительно может навести на размышления о некоей связи между белизной и мраком (черным) в повествовании. Однако обобщение, к которому приходит здесь Моррисон, кажется излишне широким: образы белизны «практически неизменно возникают в смежной близости с репрезентациями черных или африканцев, которые либо мертвы, либо обессилены, либо полностью подавлены», и поэтому «эти образы ослепляющей белизны призваны функционировать в качестве одновременно и антидота и медитации по поводу тени, которая неотделима от этой белизны, — темного, нависающего присутствия, которое наполняет тексты американской литературы страхом и желанием» (33). Система аргументации Моррисон и используемая ею риторика достаточно однообразны и порой, казалось бы, теряют убедительность. Словно чувствуя это, Моррисон компенсирует некую монотонность и беглость литературоведческого анализа идеологическими атаками на такие твердыни американской мифологии, как «американская мечта» («иммигрантская мечта», в уточняющей формулировке Моррисон). Она считает необходимым не только задаться вопросом о том, какие возможности открывал перед иммигрантами Новый Свет. С ее точки зрения, требуют уточнения и реалии Старого Света, которые подталкивали людей к переезду за океан. К общепринятому объяснению (бегство от религиозных преследований) Моррисон добавляет, что Новый Свет открывал уникальную возможность начать жизнь с чистой страницы — не только родиться заново, но «родиться, так сказать, в новых одеждах» — пересоздать себя, обретя внутреннюю свободу, преодолев в себе рабский страх перед предрассудками, бедностью, голодом и лишениями, перед участью изгоя, перед собственным бессилием и возможной неудачей (35, 37). Страхи наполняли сознание ранних американцев и нашли, быть может, свое самое яркое выражение в американской литературной «готике». Задаваясь вопросом об истоках влечения ранних американских писателей, активных участников созидания нового мира, к мрачному и таинственному (готическим мотивам) в литературе, Моррисон уверенно утверждает: уроки и ошибки прошлого можно преодолеть, только написав о них, с тем чтобы в будущем избежать их повторения, — придав им наглядность, словно бы сделать прививку против этих страхов. <...> Рабы, как можно предположить, являли собой суррогатное Я для размышлений о проблемах человеческой свободы, ее соблазнах и сложности определения ее границ. Черное население всегда было здесь проекцией вечных медитаций о страхе — страхе европейских изгоев перед неудачей, собственным бессилием, бескрайней Природой, одиночеством как вечным человеческим уделом, внутренней агрессией, злом, грехом, алчностью. Другими словами, рабы словно бы предоставляли полигон для размышлений о человеческой свободе в иных терминах, нежели абстракции о бесконечных возможностях и правах человека» (36—37). Поэтому главной темой американской литературы изначально можно считать проекцию писателями (и обществом, которое их пестовало) своих внутренних конфликтов на «черную

пустоту», на черных, удобно скованных путами рабства и лишенных голоса. Скажем, ключевой для американской государственности концепт «прав человека» был неразрывно связан с африканизмом. Цитируя социолога Орландо Паттерсона, Моррисон утверждает: нет ничего удивительного в том, что Провещение санкционировало рабство. Концепт свободы не мог формироваться в безвоздушном пространстве. Ничто так не способствует ощущению ценности свободы (если в прямом смысле слова не порождает ее), как рабство (38).

Новая американская культурная идентичность конструировалась как идентичность нового *белого* человека. Моррисон настаивает, что, создавая эту новую идентичность, деятели молодой американской культуры обращали свой взгляд не только в сторону старой родины — Европы. Величайшие драматические возможности для самоосмысления открывала расовая неоднородность населения американского континента. Эта неоднородность оказалась чрезвычайно благотворной почвой для поисков новых систем означивания и символических опосредований в процессе самоопределения и кристаллизации новой культурной идентичности (39).

Еще одной литературоведческой иллюстрацией становится обращение Тони Моррисон к знаменитому роману Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Она настаивает, что основные противоречия в восприятии романа как великого произведения американской (или даже мировой) литературы связаны с запечатленным в нем взаимодействием свободы и рабства, с описанием взросления Гека, неизменной «услужливостью» Джима как неотъемлемым компонентом этого взросления и даже с невозможностью для Марка Твена продолжить действие романа на территории свободных от рабства штатов (55). Моррисон предлагает собственную интерпретацию концовки романа, полемизируя с предшественниками.

Ряд литературоведов видит в финале романа виртуозный авторский ход, возвращающий Тома Сойера на причитавшееся ему изначально центральное место. Другие критики обнаруживают здесь саморефлективную игру с избитыми конвенциями приключенческого романа. Третьи видят в этом творческую неудачу автора, который после долгого творческого кризиса потерял власть над собственным повествованием, в очередной раз сменил художественный фокус и — от нахлынувшего отвращения к собственному опусу — перешел с серьезного и взрослого взгляда на вещи обратно к ни к чему не обязывающей детской приключенческой истории. В финале также видят мораль, ценный жизненный урок для Гека и Джима, за который мы должны быть благодарны автору.

С точки зрения Моррисон, ни один из критиков не заметил, насколько велика роль Джима в становлении Гека как личности *в Америке* и что именно это может объяснить некую двусмысленность финала. Отпустить Джима на свободу, завершить роман спасением негра в свободных штатах значило бы перечеркнуть весь идейный замысел книги. Ни Гек не может представить себе Джима свободным, ни автор не знает, что ему делать со своим героем — негром, обретшим свободу. Таким образом, финал становится своего рода изощренной отсрочкой освобождения несвободного персонажа, ибо свобода не имеет никакого смысла ни для Гека, ни для текста в целом, если над повествованием не нависает тень рабства — мерила абсолютной власти над жизнью другого человека и болеутоляющего средства от тягот индивидуализма (56).

Анализируя образ Джима, Моррисон отмечает, что читателя романа не могут не поразить в персонаже две вещи: практически неизбывный запас любви и сострадания, который испытывает негр к своему белому приятелю и белым хозяевам, и его непоколебимая убежденность в том, что белые воистину обладают по отношению к черным превосходством и большей человеческой зрелостью — взрослостью. В подчеркнуто наглядной обрисовке Джима как *другого* можно расслышать некую просьбу белых о прощении и любви, но этот моральный импульс реализуется только при условии, что Джим сам осознает свою неполноценность (не как раб, но как черный). Ведь недаром Джим позволяет своим преследователям мучить и унижать себя и отвечает на мучения и унижения лишь безграничной любовью. Пожалуй, нельзя не согласиться с Тони Моррисон, когда она делает вывод о связи непротивления злу насилием Джима с амбивалентным звучанием финала: «Если бы Джим был *белым* беглым заключенным, подобный финал не мог бы иметь место. Потому что невозможно представить, чтобы двое ребят играли в такие жестокие игры с жизнью взрослого белого человека, независимо от его социального положения, образовательного уровня или его взаимоотношений с законом». И величие романа Марка Твена состоит в том, что он обнажает «паразитическую суть свободы белого человека» (57).

Итак, проведя анализ нескольких произведений Эдгара По, Марка Твена и ряда других белых американских писателей, Моррисон приходит к выводу, что присутствие черных рабов обогатило и расширило творческий потенциал американской культуры. Ибо конструирование образов черного/черноты/мрака и порабощения подразумевало не только отражение неслободы, но и своеобразную проекцию вовне *не-Я*, проекцию, которой добавляло драматизма полярное несовпадение цвета кожи. В результате сформировалось особое пространство для игры воображения белых писателей — пространство, выросшее из коллективных потребностей смягчить, успокоить внутренние страхи и логически обосновать рабство. Иначе говоря, возник «американский африканизм» — искусственно сконструированный комплекс темноты, инаковости, тревоги и желаний, комплекс чисто американский по своим истокам (38). Африканское присутствие, прямое или косвенное, определяет саму текстуру американской литературы. Темное и всепроникающее, оно служит для литературного воображения видимым или невидимым посредником в осмыслении себя и окружающего мира. Даже (и в особенности) когда в американских текстах не идет речь *об африканском присутствии* (и в нем нет африканских персонажей или их диалекта), его тень все равно маячит над повествованием как тайный соучастник творческого акта и проявляет себя в используемых символах, в подсознательных линиях демаркации. Сознание собственного американизма конструировалось у вновь прибывших на континент иммигрантов прежде всего в оппозиции к местному черному населению (47). Семантика цвета как выражения расовой принадлежности, таким образом, играет решающее значение в самосознании американской культуры.

Библиографический список

1. Вулф В. Своя комната // Эти загадочные англичанки... / Сост. Е. Ю. Гениева. М., 2002.
2. Baldwin J. Notes of a Native Son. L., 1969.

3. *Campbell K.* Poe's Treatment of the Negro and of the Negro Dialect // *Studies in English*. 1936. Vol. 16.
4. *Jameson F.* *The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act*. Ithaca, 1981.
5. *Morrison T.* *Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination*. N. Y., 1992.
Далее при ссылках на это издание приводятся только номера страниц в скобках.
6. *The Northon Anthology of Africa American Literature* / Ed. by H. L. Gates, Jr.; N. Y. McKay. N. Y.; L. 1997.

Н. Л. Ермолаева

О СЛОВЕ «СУДЬБА» И ЕГО СИНОНИМАХ В ТВОРЧЕСТВЕ И. А. ГОНЧАРОВА 1830—1840-х ГОДОВ

Рассматриваются основные особенности понимания категории судьбы в творчестве И. А. Гончарова 1830—1840-х годов. Случаи употребления данного слова и его синонимов в творчестве писателя анализируются в сравнении с произведениями других авторов.

The article deals with the basic peculiarities of the understanding of the category of Fate in the creative work of I. A. Goncharov of 1830—1840s. The usage of this word and its synonyms in the creative work of this writer are viewed in comparison with the works of some other authors.

Судьба — это одна из универсальных категорий, которые объясняют, определяют философскую картину мира. В слове «судьба» запечатлены опыт всенародного осмысления свободы и необходимости применительно к человеческому бытию, попытка человеческого разума отыскать последние основания жизни — силы, которые управляют мировым порядком и человеческим поведением [10, с. 208]. А. Ф. Лосев характеризует судьбу как «нераздельное тождество разумного и внеразумного начала» [6, с. 154].

Тема судьбы в литературе имеет свою традицию. Рок, судьба, мойры, парки, фортуна — атрибуты драматургии античной эпохи. В середине XVIII века в произведениях западных и русских просветителей обращение к ним превращалось в устойчивые аллегорические клише, становилось предметом поэтической игры, поскольку в эпоху Просвещения идея судьбы сдвигается «в сферу обывательских представлений» [1, с. 56]. В эпоху романтизма она начинает «связываться с народными поверьями, становится принадлежностью носителей народной культуры» [3, с. 113]. В начале XIX века это понятие постепенно наполняется христианским смыслом, судьба в русской литературе становится синонимом Провидения. А. Н. Афанасьев пишет: «Наши простолюдины верят, что ангел у всякого на роду (т. е. в минуту рождения) пишет его судьбу <...> По народному русскому выражению: “Бог — судья!” Он “виноватого сыщет”» [2, с. 369, 370]. Заметим, что, по наблюдениям С. Е. Никитиной, «в текстах русского фольклора слово *судьба* не явля-

ется частотным», хотя «судьба в русском фольклоре — существо всепроникающее» [7, с. 130]. Такое же убеждение высказала в беседе с автором этих строк Н. С. Ганцовская, известный специалист по современным говорам.

А. С. Пушкин большое внимание уделял категории судьбы. Поэт не отверг в полной мере античное представление о судьбе как «метафоре смерти», силе, враждебной человеку в его стремлении к счастью [13, с. 91, 82—83]. Провидение и судьба для Пушкина не всегда являлись синонимами, он не противопоставил судьбе разум и убеждение, что человек — хозяин своей судьбы (см.: [12, с. 196—212]), для него судьба не предрассудок или не стоящее внимания поверье. Создавая пьесы в жанре трагедии, Пушкин не захотел отказаться от традиционных представлений о трагической вине, о судьбе как роковой предопределенности.

В творчестве других предшественников и современников И. А. Гончарова — в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова, в лирике Е. А. Баратынского (см.: [5, с. 86—100]), у молодых А. И. Герцена и Н. А. Некрасова — независимо от того, признавали они волю Провидения или отказались от веры, судьба выступает как традиционно олицетворенный женский образ, как мифологема, принадлежащая эпохе дохристианской. В этом смысле судьба противопоставлена промыслу Божьему. Судьба губит, а промысел Божий спасает.

В немногочисленных дошедших до нас ранних романтических стихотворениях Гончарова, вторичностью чувств, интонаций, образной системой больше похожих на пародии, отношение к судьбе вполне серьезно, судьба и смерть поставлены рядом. Судьба неумолима и жестока. В стихотворении «Утраченный покой» появляются строки:

Злодея казнь не так страшна,
Темницы тьма не так душна,
Как то, что грозною судьбой
Дано изведать мне собой!
[4, с. 24].

Подобное представление о судьбе вполне традиционно для предшественников и современников писателя.

Однако в прозе Гончарова 1830—1840-х годов судьба по отношению к человеку уже осмыслена как нечто благоприятное. В «Светском человеке» (1847), «Письмах столичного друга к провинциальному жениху» (1848), как и в произведениях 1830-х годов, писатель употребляет это слово с положительной оценкой: судьба назначит «блистательный путь на широкой арене порядочного общества» [4, с. 493], «наделив вас богатством, доведет жениться» [4, с. 500]. Теперь судьба и смерть у Гончарова почти никогда не сойдутся вместе. В отличие от современников с трагическим мироощущением — М. Ю. Лермонтова или А. Ф. Писемского, например, у которых поле действия судьбы — это жизнь и смерть, у Гончарова, как и у его младшего современника А. Н. Островского, — это счастье и несчастье.

В ранних пародийных повестях «Лихая болеть» (1838), «Счастливая ошибка» (1839), очерке «Иван Савич Поджабрин» (1842) появляется олицетворенный образ прихотливой, переменчивой судьбы. Гончаров говорит о «проказах судьбы», предоставляет ей право распоряжаться жизнью и счастьем

ем героев, сводить и разводить их, создавать для них непредвиденные ситуации; герои испытывают «удары судьбы». Писатель не раз прибегает к этому понятию для создания комической ситуации. Например, при посещении героями «Лихой болести» харчевни он иронизирует: «Подумаешь, до каких странностей принуждает иногда касаться необходимость! Но тут судьба, кажется, сжалилась и не решилась оскорбить нежные дамские уста противозаконным прикосновением» [4, с. 54], имея в виду прикосновение к грязным стаканам, принесенным чухонцем. Комический эффект возникает при использовании автором и героями Гончарова расхожих афоризмов со словом «судьба». В повести «Лихая болеть» рассказчик восклицает по поводу «болести» собственных героев: «За что тяготеет над ними кара небесная? <...> Господи! неисповедимы судьбы Твои» [4, с. 46]. В очерке «Иван Савич Поджабрин» Анна Павловна спрашивает у героя мебель, пользуясь его влюбленностью, и при этом говорит: «Ну уж если ты так добр, так дай на подержание и зеркало, чтобы хоть на время забыть удары судьбы» [4, с. 125].

Герои ранних произведений Гончарова относятся к судьбе легко и просто, они уверены, что могут вступить с ней в диалог, быть хозяевами судьбы. В этом убежден несколько самоуверенный Егор Адуев из повести «Счастливая ошибка». Когда «судьба свела» [4, с. 72] его с любимой девушкой, чтобы поссорить их, герой благодарит «судьбу, что остановился вовремя» [4, с. 76] и не женился на героине, которая, как ему теперь кажется, никогда не любила его. Однако эту ссору ему тяжело перенести, жизнь для него стала подобна «полю, отмежеванному ему судьбою, которое он равнодушно переходил» [4, с. 79]. Он перестал надеяться на счастье и решил положиться на волю судьбы. Получив приглашение на бал, герой восклицает: «А! Сама судьба посылает мне средства к развлечению! Пойду, куда она влечет меня; может быть, неожиданно буду счастлив» [4, с. 89]. И судьба вновь сводит его с любимой. Герои счастливы. Все, что произошло с ними, — проказы судьбы. Автор предоставляет право судьбе устраивать счастье героев, а сам намеренно отстраняется: «Кто же виноват? По-моему, никто. Если б судьба их зависела от меня, я бы разлучил их навсегда и здесь кончил бы свой рассказ» [4, с. 80—81]. Иронический оттенок авторского резюме очевиден. С понятием «судьба», которое было осмыслено романтиками как высокое, равное понятию «неумолимый рок», Гончаров обращается запросто, как делали это до него в драматургии, например, В. Шекспир (см.: [9, с. 260—267]), в прозе — Г. Филдинг. Вольное обращение писателя с «судьбой» подчеркивает пародийный характер его повестей.

В лексиконе романтика Александра Адуева из «Обыкновенной истории» (1847) имеется богатый запас романтических штампов со словом «судьба» и его синонимами. В его стихах, как и в письме его тетки к Петру Адуеву, находим крайне редко встречающееся у писателя слово «рок». Заметим, что еще Пушкин употреблял это слово, не имея в виду его отрицательную стилистическую окрашенность. Гончаров в 1840-е годы воспринимает слово «рок» как скомпрометировавшее себя, как принадлежащее уже осмеянному напыщенному, «романтически-трагическому» стилю. Романтические штампы в «Обыкновенной истории» Гончаров включает в комический контекст, при использовании специально выделяет в тексте, тем самым подчеркивая их цитатность: Александр употребляет слова и выражения «жребий» [4, с. 235], «удел» [4, с. 449], «чаша счастья» [4, с. 266], «удар судьбы» [4, с. 311].

Для того чтобы выразить свое насмешливое отношение к романтически настроенным возлюбленным Александра, автору также достаточно вложить в их уста ставшие поэтическими штампами фразеологизмы со словом «судьба». «Слышите! — сказала Надинька пророческим тоном, — вот намек судьбы: эта минута не повторится больше — я чувствую...» [4, с. 263]. Юлия Тафаева восклицает: «Я отмщу вам <...> вы думаете, что так легко можно шутить судьбой женщины?» [4, с. 378].

Александр Адуев убежден, что он как истинно романтический герой живет в диалоге с судьбой, что он понимает ее высокие замыслы в отношении самого себя и в Петербург едет за счастьем. Этого желали ему и матушка, и Антон Иванович, и все деревенские знакомые — люди непросвещенного сознания, однако верующие в Бога, в лексиконе которых судьба и счастье, судьба и Божья воля — синонимы. Александр же понимает судьбу как человек просвещенного сознания, оторванного от веры. Слово «судьба» он ни разу не употребит как синоним Провидения.

В начале романа герой Гончарова не сомневается в собственной поэтической одаренности, в том, что он избранник небес и как поэта его «на ступенях света / Ждала высокая ступень» [11, т. 5, с. 117, 116]. Он не знает себя и людей и верит в неизменность человеческой природы. Он не усвоил пушкинского урока: «Вращается весь мир вокруг человека, — / Ужель один недвижим будет он?» [11, т. 3, с. 341]. Дядя, который «знает наизусть не одного Пушкина» [4, с. 218], давно убедился в справедливости этих строк на собственном жизненном опыте, на опыте окружающих. Юный Александр не хочет слышать слов дяди. О дяде он думает, включаясь в контекст пушкинского творчества: «Не демон ли это, посланный мне судьбою? Зачем отравляет он желчью все мое благо? не из зависти ли, что сердце его чуждо этим чистым радостям, или, может быть, из мрачного желания вредить... о, дальше, дальше от него!.. Он убьет, заразит своею ненавистью мою любящую душу, развратит ее...» [4, с. 267]. Неудачи в Петербурге герой сам оценит как происки неблагосклонной к нему судьбы. Он начинает сетовать на судьбу. Измена Наденьки — это «самое горькое оскорбление, какое только судьба посылает человеку» [4, с. 308].

После разрыва отношений с Наденькой Александр надевает на себя одну из романтических масок: «Ему как-то нравилось играть роль страдальца. Он был тих, важен, туманен, как человек, выдержавший, по его словам, *удар судьбы*, — говорил о высоких страданиях, о святых, возвышенных чувствах, смятых и втоптаных в грязь, — “и кем? — прибавлял он, — девчонкой, кокеткой и презренным развратником, мишурным львом. Неужели судьба послала меня в мир для того, чтоб все, что было во мне высокого, принести в жертву ничтожеству?”» [4, с. 311]. С этого момента герой начинает сомневаться в добром расположении к нему судьбы.

После разочарования в своих творческих способностях Александр представляет себя человеком, вступившим в конфликт с судьбой, в борьбу с ней. «Нет! — сказал он со злостью, — если погибло для меня благородное творчество в сфере изящного, так я не хочу и труженичества: в этом судьба меня не переломит!» [4, с. 343].

После встречи с Юлией герой живет, не доверяя судьбе: «Ему казалось, что вот, того и гляди, она [Юлия] изменит или какой-нибудь другой неожиданный *удар судьбы* мигом разрушит великолепный мир блаженства» [4,

с. 368]. Но герой убеждается в постоянстве чувства Юлии, и ему кажется, что он вновь угадал замысел судьбы: «А! наконец я понимаю тебя, судьба! Ты хочешь вознаградить меня за прошлые мучения и ввести, после долгого странствования, в мирную пристань. Так вот где приют счастья... Юлия!» [там же].

Очередное разочарование в любви, изумление и растерянность перед открытием тирана и изменника в самом себе [8, с. 61] заставляют Александра не доверять судьбе, относиться к ней как к злой насмешнице: «Желать он боялся, зная, что часто, в момент достижения желаемого, судьба вырвет из рук счастье и предложит совсем другое, чего вовсе не хочешь, — так, дрянь какую-нибудь; а если наконец и даст желаемое, то прежде измучит, истомит, унизит в собственных глазах и потом бросит, как бросают подачку собаке, заставивши ее прежде проползти до лакомого куска, смотреть на него, держать на носу, заваливать в пыли, стоять на задних лапах, и тогда — пиль!» [4, с. 390]. В представлении героя судьба вырастает в мифологему иррационального, неизведанного, темного начала бытия. И это представление в чем-то близко пушкинскому. Поэт писал о судьбе П. А. Вяземскому: «Судьба не перестает с тобой проказить. Не сердись на нее, не ведает бо, что творит. Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто» [11, т. 10, с. 160].

Теперь Александр «искал беседы людей с желчным, озлобленным умом, с ожесточенным сердцем и отводил душу, слушая злые насмешки над судьбой; или проводил время с людьми, не равными ему ни по уму, ни по воспитанию...» [4, с. 392]. Примирение с судьбой возможно лишь через «чашу». «С судьбою примирюсь вином» [4, с. 388], — напишет он в новых своих стихах. Оказавшись рядом с людьми другой культуры, герой принимает их обывательские представления о судьбе. Отправляясь с Костяковым на рыбную ловлю, Александр насмехается над судьбой, представляет свои отношения с ней как чисто бытовые: «...только там судьбе не над чем забавляться, больше забавляюсь я над нею: смотришь, то рыба сорвется с удочки, когда уж протянул к ней руку, то дождь пойдет, когда собрался за город, или погода хороша, да самому не хочется... ну и смешно...» [4, с. 415]. Автор же не сводит судьбу с небес на землю, хотя и не оспаривает представление о ней как о прихотливом существе. Поведение героя вызывает у него усмешку: «Душа Александра опять стала утопать в тине скудных понятий и материального быта. Но судьба не дремала, и ему не удавалось утонуть совсем в этой тине» [4, с. 410]. Судьба действительно не дремала и как бы в отместку за неуважение к ней героя в свою очередь посмеялась над ним: ему вдруг показалось, что он сможет украсть у судьбы минуту наслаждения, воспользовавшись влюбленностью юной и неопытной души, но замысел Александра оказался разгадан, а сам он пристыжен и унижен отцом Лизы.

В результате всего пережитого в Петербурге герой приобретет такой жизненный опыт и такое знание людей, при котором романтическая маска разочарованного ему уже не понадобится. «Да можно ли надеяться на это счастье? можно ли поручиться, что оно прочно, что сегодня-завтра судьба не обернет вверх дном этой счастливой жизни, — вот вопрос! Можно ли верить чему-нибудь и кому-нибудь, даже себе?» [4, с. 415], — говорит он Лизавете Александровне. У него есть теперь твердое убеждение: «Человек счастлив

заблуждениями, мечтами и надеждами; действительность не сделает...» [4, с. 418]. То, чему научили «дядюшка Петр Иванович и опыт» [там же], определяет его глубоко драматичную жизненную ситуацию. Она дает ему теперь право спорить с дядей на равных. На слова дяди: «Со временем ты женишься; карьера перед тобой: займись только; а вместе с ней и фортуна. Делай все, как другие, — и судьба не обойдет тебя: найдешь свое» [4, с. 421] — Александр отвечает: «Я вас не виню, дядюшка, напротив, я умею ценить ваши намерения и от души благодарю за них. Что делать, что они не удались? Не вините же и меня. Мы не поняли друг друга — вот в чем наша беда! Что может нравиться и годиться вам, другому, третьему — не нравится мне...» [там же].

Отношения с судьбой Петра Адуева тоже небезоблачны. Уже в начале романа, разговаривая с племянником, он говорит о непредсказуемости жизненных ситуаций, предупреждает о том, чего не подозревает в себе самом Александр, но с чем придется ему столкнуться: «...ты молод — проклянешь, а не благословишь судьбу! Я, бывало, не раз проклинал — я!» [4, с. 294]. Как и племянник, дядя далек от христианского понимания судьбы как Божьей воли. Он живет как бы в тайном согласии с судьбой, подменив это слово другими: карьера, фортуна, случай. Он умеет делать карьеру, ему благоволят фортуна, он «в случае» и счастлив этим. Петр угадывает особенности натуры Александра и предчувствует, как трудно будет племяннику пережить «обыкновенную историю». Такая проницательность героя основана на знании людей и на понимании того, что в жизни действуют непреодолимые законы судьбы, с которой играть нельзя. Еще в разговоре с влюбленным в Наденьку Александром он говорил: «Порядочный человек не сомневается в искренности клятвы, когда дает ее женщине, а потом изменит или охладет, и сам не знает как. Это делается не с намерением, и тут никакой гнусности нет, некого винить: природа вечно любить не позволила» [4, с. 247].

И все-таки знание жизни и людей не спасло и Петра от ошибки. Он не заметил, как «обыкновенная история» случилась не только с Александром, но и с его женой, много лет молча страдавшей от отсутствия любви и ласки любимого ею мужа. Апатию Лизаветы Александровны Петр первый распознает как болезнь. Его тревога по поводу здоровья жены даже у доктора вызывает некоторое удивление. Герой бессилен перед судьбой, с которой, как ему казалось, давно был дружен и угадывал ее желания, он «взвешивал, кажется, каждый свой шаг», чтобы избежать коварной судьбы, «был осторожен с ней», но она «где-нибудь да подкосит, и когда же? при всех удачах, на такой карьере...», в растерянности говорит он доктору в эпилоге [4, с. 455]. Петр с горечью признается племяннику: «Моя карьера кончена! Дело сделано: судьба не велит идти дальше...» [4, с. 468], принимая случившееся как должное, необходимое и неизбежное. Герой оставляет фортуна и карьеру, потому что осознает свою вину перед женой, невозможность противостоять судьбе.

Сама Лизавета Александровна давно осмыслила свое положение как предназначенное небесами. Она тоже знает о прихотливом характере судьбы, о том, что с ней шутить нельзя. В разговоре с Петром об Александре однажды героиня называет насмешкой судьбы то, что «она всегда, будто нарочно, сведет нежного, чувствительного человека с холодным созданием» [4, с. 320],

имея в виду при этом, конечно же, не только Александра, но и самое себя. Она давно убедилась: «От судьбы вы нигде не уйдете...» [4, с. 415].

В эпилоге романа произошедшее с Лизаветой Александровной приобретает даже не драматический, но мало свойственный творчеству Гончарова трагический оттенок. Она на пороге смерти и призывает ее: «Боже, Боже, что я наделала! Я была брошена как камень на твоём пути; я мешаю тебе... Что за странная моя судьба! <...> Если человеку не хочется, не нужно жить... неужели Бог не жжалится, не возьмет меня?» [4, с. 462]. В сознании героини судьба и воля Провидения близки друг другу, она разделяет народное представление о синонимичности этих понятий.

Драматизм судеб Петра и Лизаветы Александровны ставит под сомнение и оптимизм Александра в финале романа. Оказавшись в деревне и окончательно повзрослев, до конца испив горькую чашу своей «обыкновенной истории», герой по-новому взглянул на пережитое. «Тяжкая школа, пройденная в Петербурге, и размышление в деревне прояснили мне вполне судьбу мою. Удалясь на почтительное расстояние от уроков дядюшки и собственного опыта, я уразумел их здесь, в тишине, яснее, и вижу, к чему бы они давно должны были повести меня, вижу, как жалко и неразумно уклонялся я от прямой цели. <...> Стыжусь вспомнить, как я, воображая себя страдальцем, проклинал свой жребий, жизнь. Проклинал!» [4, с. 449], — напишет он Лизавете Александровне. Теперь Александр понимает, что счастливым можно быть не только в мечтах, но и в действительности. В его лексиконе появляются слова Петра «карьера» и «фортуна». В деревне его постепенно начинает одолевать желание поехать в Петербург: «...нельзя же погибнуть здесь! Там тот и другой — все вышли в люди... А моя карьера, а fortuna?... я только один отстал... да за что же? да почему же?» [4, с. 448].

Как видим, мечты о карьере и фортунах посещают героя еще в деревне. Именно поэтому о духовном преображении Александра в эпилоге вряд ли стоит говорить, как о чем-то совершенно неожиданным [8, с. 67]. В эпилоге Александр достиг того, о чем уже давно мечтал: он стал «человеком случая». «...Это необыкновенный случай» [4, с. 469], — восклицает Петр по поводу предстоящей женитьбы Александра на богатой невесте. Однако у читателя рождается невольный вопрос: надолго ли в такой роли удержится Александр? Случай прихотлив, на него нельзя полагаться слепо.

Таким образом, в произведениях Гончарова 1830—1840-х годов слово «судьба» выступает в одном ряду со словами «жребий», «рок», «фортуна», «карьера», «случай», «счастье» и др. Понятие «судьба» в зависимости от жанра произведений приобретает и вполне традиционный, глубоко драматичный смысл, и смысл комический. Гончаров использует это понятие в пародийных целях, что для многих его предшественников и современников было еще невозможно. В произведениях этого периода писателем отражены представления о судьбе как людей с просвещенным сознанием, так и представителей необразованного большинства, как верующих, так и неверующих в Бога. Гончаров разорвет веками существовавшую в мировой культуре неизменную связь судьбы и смерти. Тема смерти для его творчества вообще нехарактерна, оно значительно более оптимистично, чем творчество современных ему прозаиков — Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, А. Ф. Писемского.

Библиографический список

1. *Аверинцев С. С.* Судьба // БСЭ. Т. 25.
2. *Афанасьев А. Н.* Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1994. Т. 3.
3. *Бокадорова Н. Ю.* Семантическое поле «судьбы» у французских энциклопедистов // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994.
4. *Гончаров И. А.* Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. СПб., 1997. Т. 1.
5. *Григорьева Е. Н.* Категория судьбы в ранней лирике Баратынского // Имя — сюжет — миф. СПб., 1996.
6. *Лосев А. Ф.* История античной философии. М., 1989.
7. *Никитина С. Е.* Концепт судьбы в русском народном сознании: (На материале устнопоэтических текстов) // Понятие судьбы в контексте разных культур.
8. *Отрадин М. В.* Проза И. А. Гончарова в литературном контексте. СПб., 1994.
9. *Полторацкий А. И.* Судьба у Шекспира // Понятие судьбы в контексте разных культур.
10. *Постовалова В. И.* Судьба как ключевое слово культуры и его толкование А. Ф. Лосевым: (Фрагмент типологии миропонимания) // Там же.
11. *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1977—1979.
12. *Семенова С.* Перед лицом судьбы и смерти // Москва. 1999. № 7.
13. *Фрейденберг О. М.* Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.

Е. А. Комарова

**ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 РОМАНА Ж.-К. ГЮИСМАНСА «В ПУТИ»**

Рассматриваются особенности пространственной и временной организации романа Ж.-К. Гюисманса «В пути» как отражение экзистенциальных поисков писателя, анализируются истинные и ложные формы пространства с точки зрения средневековой христианской символики, выделяется категория литургического времени, описывается идеальная пространственно-временная модель, в рамках которой возможна Божественная благодать.

The study focuses on spatial and temporal peculiarities of J.-K. Huysmans's novel "En Route" which reflect the existential quests made by the writer. The objects of the analysis are true and false forms of space as regarded by the medieval Christian symbolism, the category of liturgical time, the ideal spatial and temporal model providing divine grace.

Роман Ж.-К. Гюисманса «В пути» (En Route, 1895), второй из тетралогии о Дюртале, знаменует собой начало заключительного, католического этапа экзистенциальных поисков писателя. Осознание несостоятельности вызова Богу через сотворение искусственной реальности («Наоборот»), тщетная попытка опровергнуть Божественные предписания в практике сатанизма («Там, внизу») приводят Гюисманса к мысли о существовании милосердной приста-

ни, спасительного убежища, где истерзанная душа может найти утешение и жизненную опору. Пройдя испытание мистицизмом «наоборот» и сумев преодолеть зло, Дюрталь — духовный двойник Гюисманса — начинает восходящий путь, ведущий к Богу.

Роман «В пути» изначально замыслился автором как «белая книга», своего рода «Там, вверху»: «Я отказываюсь от сатанизма. Я напишу мистическую книгу... Я пройду очищение и исповедуюсь, после этого я обрету то чистосердечное состояние, которое позволит мне написать “Наоборот” от “Там, внизу” [5, р. 109]. В 1892 году Гюисманс знакомится с аббатом Мюнье, ставшим для него другом и духовным наставником. По его совету писатель оставляет Париж и удаляется в аббатство Трапп-д'Иньи. Эта поездка становится для него решающей: «Я сразу же почувствовал себя дома в месте, которого никогда не видел» [4, р. 639]. Вернувшись в Париж, Гюисманс приступает к работе над романом «В пути».

Окончательный вариант произведения отличается от первоначальной концепции. Это описанная в мельчайших подробностях история католического обращения писателя. Дюрталь все более разочаровывается в мирской жизни, ищет успокоения в религии, в чтении легенд и жизнеописаний святых, в мистической литературе, в посещении церквей, совершает паломничество в монастырь траппистов, где перерождается в верующего католика, и возвращается в Париж «слишком монахом, чтобы оставаться в писательском кругу» (649). Впервые почувствовав радость жизни во время пребывания в монастыре, он все же не может долго оставаться там: аскетический образ жизни и подчинение жесткой дисциплине даются ему с трудом. Путь, пройденный Дюрталем, полон жестоких разочарований и мучительной внутренней борьбы; это путь проб и ошибок, «христианского ученичества», ведущий через сомнения и срывы к озарению Божьей благодатью и к искреннему служению вере. Духовник Гюисманса, аббат Мюнье, так отозвался о своем подопечном: «Никто лучше него не смог передать тошнотворность плоти и ее низость. В отличие от романтиков, которые старались приукрасить грех, он демонстрировал всю его мерзость. Но в то время, когда он поддавался унижающим соблазнам, его душа оставалась влюбленной в незапятнанный идеал. И если он превыше всего ценил средневековое искусство, то это потому, что видел в нем синтез торжества духа над материей» [2, р. 16].

Для Дюрталя вера — это знак Божьей милости: «Я знаю только, что после многих лет безбожия я вдруг поверил... Не происходит ничего особенного, но в одно прекрасное утро ты просыпаешься и, не зная как, не зная почему, понимаешь, что это случилось... Я уверен только в том, что в моем случае речь идет о Божьем промысле, о благодати» (325—326).

Не представляя, каким образом произошло чудесное преображение, Дюрталь-Гюисманс тем не менее выделяет три основные причины, приведшие его в лоно церкви: во-первых, наследственность старинного набожного рода, представители которого нередко посвящали жизнь служению Богу; во-вторых, отвращение к жизни, усугублявшееся одиночеством; в-третьих, любовь к искусству, ставшую непреодолимым магнитом, притягивающим его к Богу. Таинства обрядов, великолепие литургий, гармония соборов навсегда покоряют Дюрталя: «В те чудесные Средние века, когда искусство, вспоенное молоком церкви, преодолело смерть, приблизилось к порогу вечности, к

Богу, Божественный замысел и небесные формы были угаданы, уловлены человеком в первый и, возможно, в последний раз» (313).

Путь Дюрталя к вере представляет собой неустанный поиск особого духовного пространства, своеобразного Телемского аббатства, в котором слились бы воедино мистическое созерцание и искусство, гармонично сосуществовали бы два почти несовместимых аспекта религиозной психологии: необходимость очищения, воплощенная в монастырской аскезе, и очарование озарения, вызываемого христианским искусством. «Искусство и молитва, — пишет Гюисманс, — это единственно возможные незапятнанные излияния души» (цит. по: [1, p. 32]).

Необходимо отметить, что в творчестве Гюисманса именно закрытое пространство (дом, замок, собор) призвано выполнять защитную функцию, обеспечивая персонажу ощущение внутренней безопасности и покоя, в то время как открытое, природное пространство порождает чувство незащищенности и тревоги. Ж.-П. Вилько подчеркивает приоритетность внутреннего над внешним в произведениях писателя: «Внутреннее пространство — это духовное пространство, данное в ощущении закрытости, и в то же время это конкретное, материально определенное пространство, на котором основывается понятие самоопределения и состоятельности личности в условиях агрессии внешнего мира» [8, p. 19].

В романе «В пути» примером такого обособленного пространства становится монастырь Трапп-де-Нотр-Дам-де-Латр, в котором Дюрталь проводит несколько дней. Аббатство видится ему идеальной пристанью, убежищем, укрепленным верой, надежной защитой индивидуального существования. Внутреннее пространство святыни — места, посвященного Богу и подразумевающего подлинное присутствие Божественного начала — отражает совершенство и бесконечность духовного мира, является «адекватным символом Божественного» [7, p. 45], способствует возрождению человеческого микрокосма под воздействием благодати.

Каждый религиозный символ образует своеобразный парадокс, так как репрезентирует бесконечное означаемое в физических рамках конечного означающего. По мнению М. Вьена, если принять, в рамках данной логики, что форма может быть адекватным символом Божественного, следует принять и обратное: «...раз существуют формы истинные в силу своей адекватности архетипу, то существуют и формы ложные, нарушающие, вольно или невольно, верность этому архетипу» [7, p. 45]. Священное искусство, будь то архитектура, живопись или скульптура, не может позволить себе ни малейшей ошибки в использовании форм: поскольку функция святыни заключается в суггестии Божественного присутствия и в создании благодатного климата, любое посягательство на символическую корректность форм тождественно разрушению этого климата.

Это замечание позволяет оценить важность взаимосвязи искусства и пространства в романе «В пути» и объясняет безжалостные тирады Гюисманса по поводу упадка религиозного искусства, начавшегося в эпоху Возрождения: «Как только заявила о себе роскошь Ренессанса, смертный грех архитектуры смог развернуться в свое удовольствие. Он заразил здания, осквернил церкви и надругался над чистотой форм» [3, p. 764]. Дюрталь чрезвычайно нетерпим к какофонии форм в религиозном искусстве: ответственные за этот

упадок виновны в художественном предательстве, так как они отнимают у искусства гармонию и прозрачность, за которыми, сквозь материальность символа, видна внятная сущность Божественного начала. В мире, где формы перестают быть адекватными символами, где они теряют тот внутренний свет, который делает из них вместилище благодати, духовная жизнь, лишенная опоры, подвергается страшной опасности. Поиск спасительного пространства в романе не увенчивается успехом во многом из-за ложности форм современного религиозного искусства.

Аббат монастыря траппистов в романе размышляет: «Невозможно отрицать, что монастырь, не похожий на монастырь, препятствует призванию; просителю необходимо — и это естественно — лепить себя в окружении, которое было бы ему приятно, воодушевлять себя в церкви, которая окутывала бы его, в затемненной часовне, а чтобы добиться этого результата, необходим романский или готический стиль» (633). В этом высказывании закрепляется решающее влияние формального пространства на духовное призвание и проводится различие между подлинным святилищем и зданием, исковерканным ложными формами. Аббат выступает в качестве выразителя мнения монастырского сообщества, вынужденного пребывать в далекой от совершенства обстановке: «Через год-другой строение, в котором мы ютимся... рухнет; но если Богу будет угодно, чтобы щедрые души пришли к нам на помощь, возможно, мы сумеем возвести монастырь, и все мы горячо этого желаем, ибо эта развалюха, построенная вкривь и вкось, вместе с церковью в форме ротонды, нам в тягость» (633).

Истинные и ложные формы оказывают сильнейшее психологическое влияние, благотворное и негативное соответственно, на персонажа. Ложные формы, отражающие состояние хаоса, сообщают индивиду его основные отрицательные качества: отсутствие единства и невнятность. Освященное пространство, состоящее из ложных форм, представляет собой множество разнородных элементов, которое, отражаясь в душе, вызывает неспособность к сосредоточенности: «Церковь Сен-Жерве, как и Сент-Эташ, была платным концертом, где вере делать нечего. Всякая сосредоточенность представлялась невозможной среди млеющих за лорнетами дам, ерзающих на скрипучих стульях, на фривольных сеансах благочестивой музыки, ставших своеобразным компромиссом между театром и Богом» (596). Перестав быть истинными символами Божественного начала, ложные формы выражают абсурдность и бессвязность: «Современные базилики в Париже были инертны; они оставались глухи к молитвам, которые разбивались о ледяное безразличие их стен» (338). Стилистический прием олицетворения передает мистико-эстетическое мироощущение Гюисманса: современные религиозные строения сделаны из камня, поэтому естественно, что они остаются «глухими» и «инертными». Бог не задерживается надолго в подобных церквях: «Казалось, что Бог постоянно отсутствует, что возвращается лишь для того, чтобы исполнить обещание появиться на посвящении, и тут же с презрением удаляется из этих помещений, не созданных для него и низостью форм пригодных лишь для мирского использования» (338).

Средневековые же церкви, воплощающие формы истинные, представлены Гюисмансом как живые существа, как души, как земное обиталище Божественного присутствия. В «милосердных» церквях Средних веков Дюр-

таль чувствует себя как дома: «...их камни действительно источали веру; там жила душа сводов; невозможно, чтобы жаркие молитвы и безнадежные рыдания Средневековья не впитались навеки в эти колонны, не врезались в стены» (338). Отношения между присутствием Божественного начала и святилищем тождественны отношениям между телом и душой: «...храм есть soma божественной psyche» [7, p. 51]. Согласно католицизму, архитектурный символизм создан самим Иисусом Христом. В доказательство обычно приводится притча из второй главы Евангелия от Иоанна, где Господь, имея в виду собственное тело, говорит о том, что, если храм будет разрушен, он восстанет за три дня. Поэтому готический собор символизирует тело Христа, распятого на кресте, и имеет крестообразную форму, образованную пересечением нефа и трансепта (поперечного нефа). Эта традиционная ассоциация присутствует и у Гюисманса: «Толпа притекала, деловито и молча, шла по огромному кресту, образованному главной аллеей и двумя ответвлениями трансепта, и, пройдя сквозь раны, изображаемые дверями, приближалась к алтарю, где должна была находиться окровавленная голова Христа, и на коленях жадно целовала у ступеней распятие, обозначавшее подбородок» (332).

Одним из примеров истинного святилища в романе становится парижская церковь Сен-Северен: храм принимает Дюрталя как отзывчивый и сочувствующий хозяин, помогающий душе принять очищение, не вспугнув ее, создающий доброжелательную атмосферу, пропитанную благодатным духом: «Здесь, даже не читая молитвы, он чувствовал, как в него проникает жалобное томление... Сен-Северен восхищал его, помогал ощутить, как никто другой, неуловимое состояние легкости и сострадания» (334). Сен-Северен полностью удовлетворяет эстетическим требованиям персонажа: «Эта апсида казалась, если угодно, замерзшим массивом скелетоподобных деревьев, оранжеею опавших сущностей, из семейства пальм, воспоминанием о неправдоподобных фениксах, о расплывчатых латаниях, а, кроме того, ее очертания в форме полумесяца в неясном освещении напоминали погружившийся в волны нос корабля» (335).

Однако Дюрталю так и не удается найти реальное воплощение своей мечты: Сен-Северену, совершенному с визуальной точки зрения, не хватает важнейшей составляющей идеального пространства — подлинной литургии, монастырь траппистов лишен архитектурной целостности, но восхищает безупречностью григорианского пения.

Идеальное пространство, с точки зрения Дюрталя, — это средневековый собор или монастырь, сосредоточение подлинного христианского искусства, являющее гармоничную множественность, в которой выражено внутреннее единство Божественного и верно переданы внятные разуму символы. Именно такое значение придавалось собору в средневековую эпоху, «золотой век» искусства, посвященного Богу, когда оно казалось отождествленным с духовностью, когда тончайшие связи соединяли видимое и невидимое. Средневековье обобщает все эпохи и все цивилизации. Благодаря художникам, весь мир в своем этническом и культурном разнообразии сливается в целостную гармонию. В этом контексте готический собор предстает как *summa medievalis* и *summa universalis*, как каменная энциклопедия всей истории человечества. Именно искусство видится Дюрталю истинным основанием католицизма. Предшествовавший Ренессансу примитивизм в живописи и

скульптуре, духовный мистицизм в литературе, григорианское пение в музыке, романский и готический стили в архитектуре являются необходимыми составляющими искомого духовного пространства.

Особая атмосфера благодати создается не только за счет зрительных символических эквивалентов (архитектурных элементов, церковного интерьера, предметов культа, облачения монахов), но и благодаря слуховым и даже обонятельным символам, также отвечающим четко определенным канонам. Символическое единство внешней оболочки и внутреннего содержания средневекового христианского искусства во многом обусловлено отказом от четких границ, от непроницаемых перегородок между различными художественными формами. В романе «В пути» источником синестезий в духе Ш. Бодлера — иррациональных ассоциативных связей, когда одно чувство вызывает другое, относящееся к иной области восприятия, открывая художнику мистическое единство Вселенной, — становится григорианское пение: «Это ровная, обнаженная мелодия, одновременно небесная и могильная, торжественный взглас грусти и надменное восклицание радости, грандиозные гимны человеческой веры, пробивающиеся в соборах, словно неодолимые гейзеры, из-под самых оснований романских колонн» (312).

Ссылки Гюисманса на соответствия между григорианским пением и другими формами искусства многочисленны и убедительны. Литургия и архитектура сплетаются воедино: «...мелодия то склоняется, словно темные романские арки, то возносится, сумрачная и задумчивая, подобно кружалам» (315). Григорианское пение заимствует у готического стиля его изукрашенные лепестки, раздробленные шпили, кружевные проемы. Слушая вечернюю мессу в Траппе в исполнении мужского хора, Дюрталь сравнивает ее с услышанной ранее в монастыре бенедиктинок и отмечает, что мужские песнопения «более массивны, более серьезные и относятся скорее к романскому стилю, тогда как женские голоса заостряют мелодию, придавая ей форму стрельчатых арок готического собора» (600).

Следующий пример художественного соответствия относится к григорианскому пению и живописи: «Он слышал пение, отличающееся утонченной и нервной худобой примитивистской живописи, он видел аскетическую суровость ее линий, отзвук ее цветовой гаммы, отблеск ее металла, выкованного в варварском и чарующем стиле готских безделушек» (411). Даже в подборе лексики с очевидностью прослеживаются синестезии: «Он слушал, задыхаясь, как появляются, обретают форму, вырисовываются в воздухе текущие полотна средневековых примитивистов» (452).

Говоря о соответствиях между музыкой, живописью и архитектурой, Гюисманс упоминает и литературу: для него григорианское пение — это «окрыленное переложение и в то же время строгая и гибкая эпитрахиль латинской прозы, созданной монахами» (315).

В тексте романа также присутствуют обонятельные синестезии: григорианское пение ассоциируется у Дюрталя с запахом ладана и свечного воска, псалмы источают покаянный аромат мирры.

С учетом вышесказанного представляется правомерным охарактеризовать духовно-эстетический идеал Дюрталя в романе «В пути» как универсальную литургию, охватывающую все области чувственного восприятия. Литургия способна нейтрализовать зрительную неприглядность ложных

форм: «Словно неземной антисептик, словно сверхчеловеческий тимол, литургия очищает, дезинфицирует нечестивое уродство святых мест» (319). Именно григорианское пение в Нотр-Дам-де-Латр позволяет Дюрталю ощутить благодать: «Христос понемногу открыл и проветрил его закрытый дом; свет залил жилище Дюрталя... Туман печали, окутывавший все вокруг, рассеялся... Он почувствовал распирающую его изнутри почти детскую радость, радость больного, вставшего на ноги, радость выздоравливающего, который после длительного пребывания в комнате наконец-то выходит наружу» (589).

Универсальная литургия организует не только пространство, но и время в романе, при этом последнее можно условно представить в трех категориях: мирское время, литургическое время, постепенно вытесняющее его, и символическое время.

Роман открывается сочетанием мирского и литургического времени: «Это было в первую неделю ноября, в ту самую, когда отмечается восьмидневное поминовение усопших» (309). Год не указан, хронологическая неопределенность разрешается лишь частично и только для посвященного читателя, когда в тексте второй главы упоминается смерть двух друзей Дюрталя, известных по предыдущему роману «Там, внизу». Д. Милле-Жерар обращает внимание на грамматическое смешение в отмеченном эпизоде простого прошедшего времени, обозначающего действие, и имперфекта, выполняющего описательную функцию, и усматривает в этом стилистическом приеме проявление бодлеровской «осени идей» («Враг»), превалирующей над любым уточнением реальной хронологии и символизирующей время, пропитанное болью и открытое смерти [6, p. 82].

Реальная хронология весьма скудна на протяжении всей первой части романа — парижской. Вслед за праздником поминовения усопших в четвертой главе упоминается Рождество: литургическое время по-прежнему накладывается на время мирское («по воскресеньям, в час соборной мессы») и поглощает его. Последнее присутствует лишь в виде отдельных штрихов («завтра», «послезавтра», «шесть часов»), которые едва просматриваются на фоне размышлений, сомнений и бесед персонажа, размывающих реальный ход времени.

Шестая глава открывается фразой «Прошло несколько месяцев» (383), которая символизирует безрезультатность метаний Дюрталя и подчеркивает, что он так и не смог определиться с выбором между светской и религиозной моделями поведения.

Ремарка о визитах персонажа к аббату Жеврезену «раз в неделю» позволяет оценить тактичность и осторожность священнослужителя, постепенно иницирующего своего несознательного подопечного.

Затем следует эпизод с Флоранс, происходящий, судя по указаниям в тексте, летом, тогда как логика повествования в целом и ссылка на истекшие несколько месяцев предполагают весеннее время.

В последующих главах линейное время по-прежнему размывается в неопределенных «в воскресенье утром», «завтра», «на следующий день, в воскресенье». В конце первой части скорый отъезд в монастырь, вызывающий сомнения и даже опасения, «сжимает» время до дней и часов: «через два

дня», «вечером», «завтра в этот час». Последний день перед отъездом описан чрезвычайно подробно, в замедленном временном ритме.

Вторая часть — пребывание в монастыре — характеризуется почти полным исчезновением категории мирского времени и его заменой временем литургическим. В келье Дюрталь находит распорядок дня, которого он обязан придерживаться и из которого следует, что речь идет о периоде между Пасхой и праздником Воздвижения, отмечаемым по католическому календарю 14 сентября. Мирское время суток обозначено литургическими ориентирами: подъем под звон «ангелуса», молитвы, литании, заутреня (прима), дневная служба (терция), обедня (секста), послеобеденная служба (нона), вечерня, всенощная служба.

Точные даты неизвестны, по косвенным указаниям можно предположить, что действие происходит после Троицы, так как на всенощной монахи поют *Salve Regina*, очевидно в июле, поскольку темнеет за двадцать минут до всенощной, то есть около семи часов вечера, в шесть часов утра уже светло, благоухают липы и цветут розы [6, р. 83]. Не исключено, что Гюисманс нарочно воздерживается от указания точных дат монастырского уединения Дюрталя, чтобы придать ему вневременной, абсолютный характер.

Дюрталь предполагал провести в монастыре семь дней, но, несмотря на первоначальную предубежденность, охотно принимает предложение отца Этьена продлить пребывание на два дня. Девять дней четко распределены по девяти главам второй части романа, при этом каждая глава охватывает одни сутки, начинается, когда персонаж просыпается, и заканчивается его отходом ко сну. Вторая глава также включает повествование о тревожной ночи, проведенной Дюрталем, и о его ночном визите в монастырскую церковь. Несмотря на кажущуюся механистичность такого течения времени, персонаж словно освобождается от его монотонности, ощущает расширение временных рамок: «В этом монастыре я прожил двадцать лет за десять дней» (648).

Расширение времени сопровождается внутренней концентрацией, прямо противоположной парижской рассеянности. Бесцельным прогулкам, случайным встречам и скуке приходит на смену жесткий распорядок дня, в первый момент испугавший Дюрталя. Время в монастыре распределяется между коллективными службами и молитвами в церкви и одиночеством в келье или в парке. В каждой главе, задавая ритм этому чередованию, описывается та или иная служба: всенощная в первой и восьмой главах, утренняя месса и секста во второй и седьмой, мессы в третьей, четвертой и девятой, *Salve Regina* в пятой, воскресная вечерня в шестой.

Литургическое время лежит в основе времени символического, циклического, стирающего трагическую линейность реального. Суточный литургический цикл символизирует человеческую жизнь: заутреня (прима) — юность, дневная служба (терция) — молодость, обедня (секста) — зрелость, послеобеденная служба (нона) — приближение старости, вечерня — дряхлость и ночная служба — смерть. Годовой литургический цикл начинается в первый день христианского года с рождественского поста гимном святого Амвросия и *Rorate coeli*, Рождество отмечено песнопением *Jesu Redemptor*, Богоявление — *Crudelis Herodes*, Великий пост — *Attende Domine*, Вербное воскресенье — *Gloria, laus et honor*, Страстная неделя — *Pange lingua gloriosi* и *Stabat*, Пасха — *Victimae Paschali laudes*, Троица — *Adoro te* и так далее,

пока круг не замкнется, вернувшись в исходную точку, когда Церковь в покаянии и молитве готовится встречать Рождество.

Временная характеристика григорианского пения также не обходится без синестезий; на этот раз псалмы ассоциируются с драгоценными камнями: *Attende Domine* — с аметистами и туманно-белым кварцем, *Pange lingua gloriosi* — с тускло-угольными обсидианами, *Veni Creator* и *Veni Spiritus* — с рубинами и гранатами, *Stabat* — с кровавым гиацинтом, *Ave maris stella* — с аквамаринном, *O quot undis lacrymarum* — с голубыми сапфирами и розовой шпинелью. Весь годовой литургический цикл сравнивается в романе с великолепной короной из драгоценных камней песнопений, оправленных в золото вечерних служб.

Литургическое время монастыря, существующее в длительности и целостности, становится мощным лекарством от неприятия жизни. Покидая монастырь в конце романа, Дюрталь боится вновь очутиться во фрагментарном, бессмысленном мирском времени, которое отнимет у него хрупкое и с таким трудом обретенное внутреннее единство: «В любом случае душевный мир утрачен навсегда. Как, в самом деле, сосредоточиться и обрести себя, если живешь на проходном дворе, если душа распахнута всем ветрам и ей не дает покоя толпа обыденных мыслей?» (647).

Идеальное время в романе «В пути» оказывается настолько же «ухроничным», сколь утопично в нем идеальное пространство. Образцовой временной моделью, как и в случае с категорией пространства, становится Средневековье. Именно эта эпоха завещала человечеству «чудо литургии, могущество ее слова, нетленную проникновенность молитв» (323). По словам Дюрталя, его мечта когда-то была реальностью: «Идеальная церковь существовала в Средние века! Пение, ювелирные украшения, живописные изображения, скульптуры, ткани — все соответствовало всему; литургическое искусство владело неслыханными сокровищами; как же это теперь далеко!» (593).

Авторский проект поиска идеального надвременного духовного пространства-убежища, в котором возможна Божественная благодать, продолжается в романах «Собор» (*La Cathédrale*, 1898) и «Паломник» (*L'Oblat*, 1903). Обращение к Богу у Гюисманса обусловлено потребностью найти надежную жизненную опору, ощутить внутреннюю целостность, обрести душевный покой.

Библиографический список

1. *Borie J.* La conversion d'un esthète // Magazine littéraire. 1991. № 5.
2. *Chastel G.* Huysmans et ses amis. P., 1957.
3. *Huysmans J.-K.* La Cathédrale // Huysmans J.-K. Le roman de Durtal. P., 1999.
4. *Huysmans J.-K.* En Route // Ibid. Далее цитаты из этого романа приводятся по данному изданию с указанием в скобках страниц.
5. *Huysmans J.-K.* Lettres inédites à E. de Goncourt. P., 1956.
6. *Millet-Gérard D.* Temps et paysage dans En Route: le miroir de l'écrivain // J.-K. Huysmans: Etudes réunies par M. Smeets. N. Y., 2003.
7. *Vieignes M.* Le milieu et l'individu dans la trilogie de J.-K. Huysmans. P., 1986.
8. *Vilcot J.-P.* Huysmans et l'intimité protégée. P., 1988.

Д. Л. Лакербай

ПОКОЛЕНИЕ СВОБОДЫ: К ВОПРОСУ ОБ «ИВАНОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ» КОНЦА XX ВЕКА

Статья посвящена одной из актуальных проблем современного литературоведения — региональной составляющей литературного развития, а именно формированию «неофициального» поэтического поколения в Ивановской области. В прошлом один из участников этого процесса, автор стремится описать его наиболее общие параметры.

This article is devoted to one of the actual problems of modern philology — local component of literature development particularly to foundation of informal poet generation in Ivanovo region. Former one of the participants of this process the author look forward to describe its common features.

Так сложилось, что молодой пролетарский город Иваново (историки и краеведы которого, как могут, отчасти открывают, отчасти изобретают культурную традицию, необходимую для удовлетворительной самоидентификации) оказался в конце XX века одним из немногих провинциальных центров «новой поэзии», ныне ставшей признанным историко-литературным фактом и в этом качестве требующей осмысления.

В современной науке уже обозначились общие принципы историзации недавнего литературного прошлого («неофициального»), преимущественно периода 1960—1980-х годов [8, 9, 13]. Эти принципы осмысляются прежде всего как набор предварительных условий: необходимо изначально отойти от какого-либо отождествления диссидентства и «другой» художественной культуры, рассматривать весь комплекс культурных мифов эпохи «в перспективе» их носителей, держать в поле рефлексии парадоксальную незавершенность периода как факта личностного самосознания (и неизбежную автоконцептуализацию от лица участников и свидетелей) при его завершенности как таковой, учитывать известную имплицитность любой «неофициальной» литературы, «приобретающей ясные эксплицитные очертания при рассмотрении изнутри» [13, с. 10], и т. п. В свете этих положений интеллектуальное свидетельство одного из персонажей эпохи (коим и является пишущий) — скорее плюс, нежели минус, несмотря на всю «искажающую оптику». Дальше, однако, необходимы уточнения.

Неофициальное искусство позднесоветского времени, вне зависимости от политической ангажированности, развивалось в условиях вынужденного противостояния если не режиму, то «официозу». Эстетический компонент обретаемой свободы был неотделим от цивилизационного выбора, от ясной общественно-культурной самоидентификации, включал в себя — по необходимости — элементы недосказанности, поскольку окружающий «контекст» был небезопасен. «Дети перестройки» застали уже несколько иную ситуацию: свобода, внешняя и внутренняя, самая большая ценность и проблема для предыдущих поколений, почти не осознавалась как предмет выбора и

борьбы — кто внутренне «дозрел», мог на закате советской эры взять ее практически даром, и даже политический пафос имел другую цену. Когда в 1986-м мы печатали в многометровой стенгазете филологического факультета ИвГУ расстрелянного Гумилева на фоне окровавленной кирпичной стены (а рядом — рецензия на «Покаяние» Абуладзе, собственные «дерзкие» вирши), вполне социальное «мы ждем перемен» базировалось на непреодолимом желании отделиться от самой нетворческой позднесоветской реальности, давно обветшавшей и эстетически неубедительной даже для школьников. Эпоха репрессий миновала, вокруг был филфак университета и сочувственное отношение многих преподавателей (в особенности кафедры тогда еще советской литературы — своеобразного вольера, где просторно было резвиться и иногда чему-то полезному учили). Константин Мозгалов, Игорь Жуков, Дмитрий Лакербай, Дмитрий Бушуев, Дмитрий Шукуров, Александр Непомнящий и другие — все они (мы) «прошли» филфак, большинство как раз в перестроечное время. Филфак по большей части и «повинен» в том, что интуиция отчуждения, миновав (для большинства) политику и бизнес, вынесла творческие эмбрионы к берегам Слова, которое каждый хотел найти и сказать.

Проще всего задним числом привязать формирование «другой поэзии» к жесткой оппозиции двух эстетических парадигм. Но надо, прежде всего, вспомнить, что провинциальный стихотворный «официоз», да еще в молодом пролетарском городе, — никакая не парадигма, а просто кондовость, конъюнктура и результат мутации (говоря языком Е. Добренко) самих представлений о творчестве. Противостоять было нечему: фон удручал. Просто хотелось жить и писать по-другому, по-своему, и показательным в этом смысле было замечательное мероприятие — «областное совещание молодых литераторов» (1988 г., местный санаторий «Березовая роща»), «междусобойчик», осененный призраками атрофированной идеологии. В силу либеральности времени и собственной доброты «старички» (заслуженные члены Ивановского отделения СП СССР), не сомневаясь в праве литнаставничества, откровенно благодушествовали, снисходительно прощая нам — Жукову, Бушуеву, Лакербаю и прочим — поэтические вольности. Все шло как положено: читали, обсуждали, почтительно выслушивали — и вдруг пронзительно понималась какая-то поразительная необязательность, почти комизм происходящего. «Надо писать не о любви, надо, как Есенин, писать любовью!» — пафосно вещает местный почвенный гуру, а другой, матерый конъюнктурщик, довольно оглаживает бородку... Инициация «по-советски» состояться не могла: «полночь, полбанки, лира» и «скорость внутреннего прогресса» (И. Бродский) заставляли воспринимать совписов скорее иронически. Они могли даже быть лучшими версификаторами или знать больше, но при этом являлись продуктом системы и ее разложения, а мы еще не были никем, но — кто сознательно, кто инстинктивно — брезговали ими и их духовной пищей. Молодежь брала свое там, где находила.

Вероятно, автор этих строк преувеличивает степень разрыва поколений: «войны» не было, существовали литобъединения разной степени консерватизма и формализованности (от «Основы» до «Ковчега»), Клуб самодеятельной песни (КСП), знаменитый поэтический театр Регины Гринберг, «продвинутое» областное отделение Российского фонда культуры (стипендиатами которого многие перебивали), совместные сборища-выезды-читки-

пьянки, и вообще жизнь кипела, богатая отношениями и пересечениями. Речь о другом. Достаточно взять дважды изданный (1999 г. и 2006 г.) «кирпич» поэтической антологии Ивановского края, чтобы «почувствовать разницу». Автор-составитель-комментатор профессор ИвГУ Леонид Николаевич Таганов, человек абсолютно замечательный во всех отношениях (кто ему не обязан? пишущий это — в первую очередь), главный культуртрегер области, без начинаний которого местную культуру представить себе невозможно, сделал принципом своей антологии необходимое, гуманное, примиряющее «пусть цветут все цветы», а во вступительной статье намекнул на некий сквозной ивановский сюжет, связанный с многообразным переживанием исторических эпох и мифологическим «противостоянием добра и зла, мрака окружающей жизни и порыва к солнцу» [14, с. 40]. Антологии, конечно, и создаются по такому принципу, но не «можно впрячь в одну телегу коня и трепетную лань», сводить глубочайшую эстетическую разницу провинциально-советского и постсоветского поэтических дискурсов к преемственности (а как же осмысленная еще формалистами неизбежная литературная борьба в качестве мотора литературного развития?). Ведь речь идет не об общественном конфликте старого и нового — о глобальной смене литературных эпох, возвращении поэзии к самой себе, и так уж получилось, что и наши скромные персоны в одном конкретно взятом провинциальном городе это обозначили. Мотивация Л. Н. Таганова, создающего на региональном уровне мифологический «сверхтекст» местной поэзии, понятна и благородна, но... истина дороже. В плетении житейской ткани, в перипетиях притяжений/отталкиваний, в отшельничестве или в тусовке, в суеде быта поэты, о которых дальше пойдет речь, во многом — не во всем — но были *другими*, шли от *других* традиций, «разыгрываемая» каждый на своей площадке и в своем творчестве языки, модели и сюжеты Серебряного века, обэриутов, русского рока, актуализируя и модернизм, и постмодерн. Не вынося оценок, подчеркнем — это была *актуальная* словесность, созвучная не местному колориту, не советской риторике, не «русскости», а общему — естественному — пути культуры.

Магистральный сюжет короткой истории «новой поэзии» эскизно выглядит следующим образом. Началось все на филологическом факультете во второй половине 80-х, с «широкой известности в узких кругах» нескольких студентов, имеющих небольшой опыт самостоятельного стихотворчества, у кого-то еще школьного (Д. Бушуев), у кого-то уже постармейского (И. Жуков). После стенгазет и многотиражек (Бушуев, впрочем, уже публиковался в «Юности», Лакербай чуть позже — в «Знамени»; вскоре последовали и отдельные книжки) задумана была и книжка на троих (существует даже историческое фото троицы), но какие-то несмазанные шестеренки не повернулись вовремя, и данная «эпохалка» — на фоне «самоцветного слова», «исконно-посконной “простоты”» и «балалаечной “мелодичности”» [1] — так и не родилась. Зато родилось и было напечатано в самой свободной местной газете «Вольное слово» предисловие к невышедшей книге, замечательное тем, что написано — в характерной для него бескомпромиссной манере — бывшим нашим преподавателем, а ныне известным столичным критиком и публицистом Александром Агеевым. Это предисловие и есть *первое* печатное слово об ивановской «другой» поэзии как состоявшемся факте, поэтому стоит кое-что процитировать.

Единственное (кроме «университетского» типа поэзии), что позволило собрать троих в одно, — «индивидуально реализованный порыв к свободе» (начали раньше «общественности» и «построили работающую модель свободы в своем творчестве»). Очень разные: «Поэтический мир Игоря Жукова — жесткий, угловатый, контрастный. Он любит иронический гротеск, ему свойствен мрачноватый скепсис, он дальше всех убежал от традиционной “музыки” классической лирики»; «Напротив, Дмитрий Бушуев — счастливый наследник завораживающего мелодизма русской лирики XX века, но наследник легкомысленный и своевольный» (далее о постмодернистском коллаже, органичном благодаря напору ритма и лежащемся «на добрый грунт вечного, наивного романтизма»); «Дмитрий Лакербай ближе всех к традиции <...> гораздо меньше самоценной игры, зато заметно больше ответственности <...> осваивающий историю и культуру не с пародийно-абсурдной и не с карнавально-красочной, как Жуков и Бушуев, а именно с трагической их стороны <...> субъективный эпос...» [1].

Создание этой «работающей модели свободы» шло, в частности, параллельно с осмыслением современной поэтической ситуации (так, И. Жуков и Д. Лакербай в семинаре С. Л. Страшнова писали дипломные работы по «концептуалистам» и «метареалистам» — весьма революционная на тот момент тематика), что активизировало процесс самоопределения. Статьи И. Жукова в местных СМИ о приезде И. Жданова и поэзии А. Еременко [6, 4] — фактически тест на культурную самоидентификацию. В них акцентированы принципиальные мысли: защита «сложности поэтического языка», которой должна учиться публика (а не наоборот); четкое осознание последствий искусственной изоляции от достижений мировой культуры; проблема «неклассического» и «абсурдного» взгляда на мир; алогизм и «непрямота» поэтического текста (слова как полный резонатор читательского восприятия) и т. п.

Был «манифест» и другого рода, также обозначающий путь к Свободе, но с несколько иными эстетическими последствиями. Константин Мозгалов (выпускник филологического факультета 70-х годов), пришедший к поэзии позже, а на рубеже 80—90-х работающий в провинциальной журналистике, публикует в газете «Вольное слово» (апрель 1991 г.) статью под названием «Зазеркалье». Это счет, выставленный советской эпохе в целом, от Павлика Морозова, «камеры и пули» до современной мифотворческой пропагандистской машины. Скрытым творческим манифестом публицистическую статью делает принципиальный отказ искать очередной коллективный выход из абсурда *данного* социума («выход способна найти Личность, и никто более»), «лингвистический» аспект освобождения («хочется избавления от тарбарского языка, от слов-мутантов») и апелляция в финале к Набокову («Проклятие труда и битв ведет человека обратно к кабану» [12, с. 7]. Из статьи — имплицитно — следует, что «среда обитания свободной личности», которую хочет подготовить автор, есть область «цветения» человеческих способностей, и внутренней опорой оказывается искусство как органическое единство свободы и духовности, как истинная мера вещей. В качестве примера освобождения приведена метаморфоза советского литератора Губарева (из автора повести о Павлике Морозове в автора «Королевства кривых зеркал»), а сам имплицитный идеал вполне «серебряночечен» — что и реализует автор вскоре как поэт, окончательно выломившись из социума с помощью своеобразной жизнотворческой реставрации Серебряного века.

Если окинуть взглядом (уже к началу 90-х) творчество «реставратора»-постмодерниста Д. Бушуева, «блуждающего» между классическим романтизмом и Серебряным веком Д. Лакербая, метафизического абсурдиста И. Жукова, неоавангардиста Д. Шукурова, «концептуального» ироника В. Ломоскова — получится знакомая картина: развитие ивановской новой поэзии на рубеже 80—90-х полностью реализует *общекультурный* механизм преодоления «совка» и, как и везде, «новые» развиваются в координатах между «восстановлением прерванного пути культуры» (при котором актуализируются «высокие» традиции Серебряного века, а «совок» есть царство отталкивающего абсурда) и традициями футуристов, обэриутов, концептуалистов — словом, авангарда и поставангарда (когда, упрощенно говоря, «сдвиг» и «абсурд» есть внутренние категории мира, человека и языка).

Таким образом, названные и неназванные поэты (М. Евстифеев, А. Родионов, Б. Сторож, Ольга ФЦ (Шашенкова) и другие), вне зависимости от личных и групповых контактов с еще живыми представителями и организациями советской литературы (то есть литературным бытом), а также их «наследниками», изначально формировали иноприродное совлиту явление — первое нессоветское (не политически — эстетически) литературное поколение в регионе.

Поскольку речь идет о явлении, оно должно жить в определенных — видимых общественности — формах. Совместные с совписами сборища-выезды-читки-пьянки были жизненной необходимостью, но собственные формы, естественно, выделялись другими. Ими стали акции, первые из которых — «Штирлиц наших кафе» и «Полтора батона» прошли в январе 1991 и марте 1992 года. Девиантное с точки зрения «нормальных» литераторов творческое поведение оказалось быстро канализировано в модные постмодернистские русла.

«Поколение свободы» искало и находило союзников среди «продвинутых» режиссеров, актеров, художников, музыкантов, коих оказалось немало и которые тоже пробивались к аудитории «вне системы». И. Жуков документировал путь «неформального искусства», и его тетради хранят интервью с «гроссфатером» ивановского авангарда, живописцем и скульптором В. Бахаревым, с уникальным «издателем-создателем» малотиражных книжек В. Гоппе («делает книги из всего, лишь бы они осязались»), статьи о выставках и спектаклях, об экспериментальном театре и многом другом. Характерный пример того, как эстетическая альтернативность официозу объединяет творчески свободных людей, — акция «Полтора батона» (март 1992 г.), прошедшая в вестибюле Ивановского художественного музея (одна из главных «площадок» новой культуры — спасибо администрации). Никто лучше архивариуса-вдохновителя о ней не расскажет: «Хлебников говорил: “Время — мера мира”. Хармс полагал, что мера мира — сабля. Глубокие провинциалы С. Кузьмичева, Е. Куваев, В. Бахарев (художники) и Д. Бушуев, Д. Шукуров, А. Родионов, В. Ломосков, И. Жуков (поэты, причем Родионов, Ломосков и Жуков — это поэзогруппка-трио “35-е темя”) крайне материалистично объявили мерой мира *батон* (плюс половина на амортизацию). И не только мерить предложили, но и рисовать *батон*ом, писать *батон*ом <...> и даже любить БАТОНОМ <...> художники приплыли на большой серой лодке вместе со своими скульптурами, полотнами и мешками. Бурлаки-волонтеры из зрителей долго тащили ее по гулким коридорам музея и ухали. В общей сложно-

сти лодка проделала путь в 873 бт (батона), потому что искусство требует жертв. Художники были бородаты, а задумчивое чело Е. Куваева украшал венец из пластмассовых крокодилов <...> Д. Бушуев читал тексты, постоянно поправляя сиявшую на его голове пожарную каску <...> И. Жуков вместо стихов сознался, что мечтает работать в зоопарке обезьяной. Строки Шукурова вообще воспроизвести трудно, потому что пишет он негритянскими наречиями...» [7, с. 2].

Таким образом, инаковость нового культурного поколения проявилась и в его самодостаточности: современное искусство — не «общепит», но и не элитарно в традиционном смысле; оно открыто всем, но требует и открытости-сотворчества (а в идеале и известной образованности); оно, ориентируясь одновременно и на «серебряновечную» эстетизацию своих публичных проявлений, и на авангардные агрессивность и эпатаж, и на постмодерное переосмысление и эстетизации, и агрессивности, выстраивает принципиально иные отношения с аудиторией, нежели совписство. Это была другая игра по другим правилам (сама альтернативность носила *игровой* характер), постепенно оживляющая местный «революционно-фабричный» фон. И действительно, когда на подвальной концептуальной выставке художника (отдыхающего от привычного традиционализма!) царит богемная атмосфера, витает дух приглашенной Розы Люксембург, Ломосков и Родионов читают на два голоса «стереофоническую» поэму, а Жуков слушает ее через фонендоскоп, — фраза одного из участников («Когда я слышу, что в этом городе еще кто-то интересуется искусством, мне хочется плакать от умиления») особенно рельефно обозначает, от чего отказывались и что преодолевали эти веселые люди. А когда отказ был осмыслен, начиналась свобода форм самовыражения и бытования, по игровым принципам постмодерна захватывающая уже все без исключения — от «Писательской организации Три Паровоза имени жены президента Кеннеди Жаклин» (М. Морозов, В. Ломосков, В. Дзуцев, а затем и «примкнувшие» упражнялись в «коллективном и анонимном» творчестве, создавая и читая небольшие прозаические фрагменты в духе игрового абсурдизма) до Российской партии пантагрюэлистов (РПП), виртуально организованной И. Жуковым (главным «формотворцем» новой культурной среды).

Акции на протяжении 90-х были весьма разнообразны. Одна акционная линия имела регулярный характер и даже стала местной культурной традицией. С марта 1992 года ивановские «новые» поэты (и «сочувствующие») ежемесячно собирались в Доме-музее Б. Пророкова и культурно развлекались как могли. Общая тема была заявлена названием — «В ожидании Пророкова». Художник, совсем по Беккету, никак не являлся, и участникам приходилось изобретать способы убивать время. Помимо стихов, песен, докладов (типа «Окрыляющее действие спиртных напитков») и возлияний, практиковались, например, защита птиц от морозов, инфернально-спиритические оргии, 11-кратное убийство Отелло, предложение публике одноглазого ежика и двухглазого мишки (оба красные, по смехотворной цене) в рамках субакции «Радость» и т. п.

Другие акции могли быть более или менее масштабными, включать или не включать в себя «содружество муз», строиться на эстетическом или бытовом материале, иметь поэтический или любой другой повод. Из получивших огласку (в основном стараниями участников и сочувствующих, среди которых были и известные журналисты) разнотипных акций упомянем «Обезьян

Пифагора» (март 1993 г.) и «Броненосец в потемках, или Колясочка» (февраль 1998 г.). Последняя состояла в том, что редакция развлекательной газеты «Разгуляй» во главе с Ломосковым и Жуковым отметила столетие Эйнштейна акцией-перформансом на площади Пушкина, разыграв сцены из его фильмов — разумеется, так, что гений «при этом наверняка перевернулся в гробу, что вполне в духе его разрушительной эстетики»¹.

Первая же из названных, по сути дела, представляла собой музыкально-визуально-поэтический вечер на мраморной лестнице все того же художественного музея. Участвовали три поэта — Жуков, Шукуров, Ломосков, «визуальный поэт» О. Шашенкова и культовый ивановский музыкант, импровизатор-саксофонист, флейтист, пианист и пр. Александр Сокуров, исполнявший роль лидера этого «синтеза искусств», мечты романтиков и символистов. Концепция же и название принадлежали Жукову. Действо произвело на сотню собравшихся сильное впечатление².

Разумеется, проходили и собственно поэтические встречи, соло и сотоварищи, многочисленные «творческие вечера»³, а также презентации редко, но все же выходявших книжек⁴. Были «презентованы» общественности и вызвали резонанс разной степени поэтические книги (из «нормальнотиражных») — «Усадьба» Д. Бушуева (1991 г.), «Преимущества маленьких» (1992 г.) и «Ястребы охлаждения» И. Жукова (1999 г.), «Кратковечный» Д. Лакербая (1995 г.). Кроме того, кипела самая разнообразная деятельность: Жуков, Шукуров, Ломосков оказались востребованы московскими коллегами и аудиторией; Жуков обнаружил в себе дар детского поэта, стал печататься в «Мурзилке», «Веселых картинках», «Трамвае», издавал детскую газету «Жираф» и стихи для детей («Носогор», 1996 г.; «Чемоданный бегемот», 1997 г. и др.).

Словом, 90-е годы были периодом расцвета «новой поэзии», что показал и организованный СПС фестиваль «Культурные герои XXI века» (ноябрь — декабрь 1999 г.). Оказалось, что, когда деятели новой культуры (разных поколений) собираются вместе, Иваново выглядит совсем другим. Особенной активностью и оригинальностью выделялись художники и поэты (иногда в одном лице — так, «флюоресцентная» Ольга Шашенкова в рамках фестиваля выступила с перформансом «Бесперспективняк», стихами, рассказами и книгами-объектами), причем было отмечено (Ю. Б. Орлицким), что молодая ивановская литература в целом — «вполне сложившееся, яркое художественное явление, отличительными чертами которого можно считать настоящую

¹ Броненосец в потемках, или Колясочка // Разгуляй. 1998. № 2. Подписи к фото акции — типа «Н. С. Хрущев в костюме А. Македонского благословляет Юрия Гагарина на исполнение роли младенца в колясочке».

² «...Зрительско-слушательская тусовка на музейных ступенях вошла в состояние “эгрегора”, некоей общности чувственно-эстетических энергий и переживаний...» (Полосина Т. Мы сами себе столица // Рабочий край. 1993. 13 марта).

³ Как, например, «Вечер легких инсинуаций» В. Ломоскова в клубе «Ювента» текстильной академии в октябре 1995-го: поэт в кителе и клешах посреди бумажных корабликов; помогают и «почетные гости» — Д. Бушуев и группа «Дегенератор».

⁴ Надо отметить, что в ходу была практика «супермалотиражных» изданий: так, активно работал в этом жанре В. Гоппе (Кинешма); книжка Д. Шукурова «Рекреация» (1998 г.) была выпущена художником А. Машкевичем тиражом экземпляров 20; К. Мозгалов оформлял и издавал себя сам — роскошно, но в количестве 1—5 экземпляров.

филологическую культуру, ироничность, интертекстуальность, нарочитый панкоидный примитивизм и натурализм, — в общем, полный набор признаков постмодернизма, однако с отчетливым провинциальным акцентом»⁵. На московский «финал» из Иванова были приглашены сразу четыре автора.

Аудиально-акционно-перформативный способ бытования многих явлений «новой поэзии» — конечно, черта симптоматичная. Если на этапе предыстории еще можно было тешить себя элитарными иллюзиями в духе высокого модернизма, то в 90-е это уже окончательно удел маргиналов, «вневременность», за которую платится непомерная цена. В эпоху телепузиков и Интернета отмирают, уплощаются, выхолащиваются очень многие культурные рефлексy и институции «галактики Гуттенберга». Культура ощутимо меняет лицо, и заторможенность осознания этого процесса в провинции — частная проблема самих провинциалов, и даже «университетская» поэзия в традиционном смысле (высокая книжная лирика, среда критиков, рецензентов и т. п.) — позавчерашний день. Увы, в силу нашей общей «выломанности» из естественного хода культурной истории это явление, не успев сформироваться, оказалось анахронизмом, уделом библиотекарей, профессоров-краеведов и графоманствующих неофитов.

Воссоздание сколько-нибудь связной и полной истории ивановского постмодерна (в широком смысле) — дело будущего, мы же для наглядности набросаем несколько портретов действующих лиц (по принципу «генератора случайных чисел»).

Без преувеличения, замечателен и «на земле Ивановской» уникален поэт-журналист-редактор-шоумен-«губернский наблюдатель»-депутат **Виктор Ломосков**, и прежде всего абсолютной естественностью своего иронического лиризма. Книгу свою — «Шесть бутылок пива (Стихи, поэмы, комиксы)» — он выпустил только в 2006 году, но известность получил за полтора десятка лет до этого. Лирико-ироническая традиция, в рамках которой осуществился наш герой, была хотя и почтенной (от Козьмы Пруткова и сатириконцев через Н. Олейникова до московских иронистов 80-х), но только что вышла из маргинальности. Общие признаки этой стиховой системы описаны многократно: «...умышленный примитивизм, однопланный синтаксис при многопланной семантике <...> травестийный метод — игра сменяющимися масками <...> словосочетания, которые прикидываются прямолинейными <...> “галантерейный язык” <...> принципиальная стилистическая какофония <...> неустанное движение от чужих голосов к голосу поэта и обратно» [3, с. 8—14]. Однако работать по-настоящему системные признаки могут лишь в рамках осмысленного художественного задания. Ломосков демонстрирует отказ от «серьезного» лиризма, но всегда оставляет простор для пародийных вариаций (а это и есть полноценная травестия, то есть лирико-ироническое самовыражение).

В такой стилевой манере важнейшую роль играют естественность интонации и сочетание «верности приемам» с изобретательностью, то есть разнообразием. И Ломосков разнообразен. Он использует травестию жанра («Баллада о шести бутылках пива...», «Автобиография», стихи из циклов «Жизнь замечательных мужчин» и соответственно «...женщин», многочисленные песенно-романсовые творения), травестию узнаваемого стиля, сюже-

⁵ <http://www.guelman.ru/21/gorod/ivanovo.htm>

та («Мы с вами странно повстречались <...> Вот шприц! Коли куда полезно! / Что хочешь, то и обнажу!» — «Женщине в белом») [11, с. 24] и «высокого» заглавия («Судьба сосиски», «Печаль и педали»), богатый арсенал центонности и реминисцентности на разных уровнях текста («Бессонница. Гомер. Тугие паруса <...> Чесотка. Томик Евтушенко. Пейджер...») [11, с. 15], каталогизацию, остроумные афористичные «пуанты» и т. д. Но главное — не количественное разнообразие, а то, что сам поэтический текст изящно совмещает «прямое» высказывание с метауровневой игрой. Эстетический объект и стратегия его завершения — целиком в поле этой игры, поэтому «способы разыгрывания» намеренно тривиальных сюжетов, стилей, жанров и прочего и составляют главное содержание поэзии Ломоскова.

Один из способов — абсурдизация основной темы, на которую «нанизываются» другие приемы, например несовпадение авторского и героического голосов. Так, в стихотворении «Печаль и педали» (пародийной вариации «кондово-патриотической» темы) герой по-зощенковски изъясняется на «мусорном» языке, однако и этот уровень является объектом игры: фраза сразу строится как совмещающая штамп, «какофоническое» (обывательское) его использование героем и авторскую лирическую иронию (амбивалентное взаимопроникновение голосов): «Если б жил я сейчас / в заграничной богатой стране, / Я бы знал от тоски по России, / по родине, средство — // Я б ночами мечтал / на зеленом педальном коне / Прокатить по двору / моего босоногого детства».

А дальше идет приземляющий и этим абсурдирующий тему сюжетный поворот к реальному бытию. Герой живет «все в том же дворе» и потому уже совсем с другими чувствами заявляет: «В металлический лом / я намерен животное сдать. / А на память о детстве оставить / печаль и педали...» [10, с. 9].

Абсурдизация темы может происходить и без лирического персонажа. Так, в стихотворении «Нес в руке кота» травестируется сама событийность. «По-нормальному» сюжетной основой должна была стать строчка «был пойман кот на воровстве», но лирическое повествование только прикидывается имеющим причинно-следственное основание — детали происходящего либо случайны («была на улице среда», «росла береза во дворе, отбрасывала тень»), либо пародийны («Среда. На ветке дрозд сидел / И думал — красота...»). Травестия событийности завершается «пафосными» вопросами и откровенной авторской ухмылкой: «Зачем несут кота? Куда? / Насколько прочен хвост? / Дрозд не узнает никогда. / Он дятел, а не дрозд» [10, с. 48].

Абсурдизация может соединяться с центонно-реминисцентным «эхом» (использованием уже обыгранного другими материала вроде знаменитой «поколенческой» хронологии). В «Когда б я был рожден в тридцатых...» Ломосков «закрывает тему», то есть с «наивной» прямоотой довел культурный метасюжет до «логического» конца с непременно финальным «пуантом» (вообще многим его текстам свойственна игровая финальность, заставляющая вспомнить устные жанры — от застольного спича до анекдота): «В шестидесятых стал студентом, / В семидесятых — диссидентом, / В восьмидесятых — импотентом, / А девяностых — монументом. // Слабея, путался бы в датах, // Жил на таблетках и на нервах. / Эх, жаль, я не рожден в тридцатых / Или хотя бы в тридцать первых» [10, с. 12].

Соединение «детской» непосредственности, выворачивающей привычное наизнанку, и тотальности игровой установки порождает самые разнообра-

разные плоды, например цикл «Махонькие трагедии», где «я» — «плавающая» текстовая инстанция, характеристика приема и способа речи: «На забор у нашей школы / Села птица. / За забором нашей школы / Психбольница» [10, с. 72]; «Мы с приятелем / Вдвоем / Замечательно снуем / Мы такие с ним друзья / Жить не можем / Не снуя» [10, с. 76]; «На суку сидит ворона, / Рассуждает про любовь — Не любите, девки, девок, / А любите пацанов» («Во Содоме ль во Гоморре») [10, с. 78].

Поэзия всегда тесно соседствовала с музыкой, и традиция «поющего поэта» в ивановской новой культуре оказалась мощно продолжена. Речь идет прежде всего о **Марии Маховой**, авторе песен, стихов, сказок для сцены, лауреате Всесоюзного Грушинского фестиваля. Но суть дела не в лауреатстве (ведь и КСП не многим лучше литкружка), а в таланте. Как написал И. Жуков в послесловии к наконец-то (в 2006 году) вышедшей книжке «Маме кенгуру», назвав Махову «классической плакальщицей» и подчеркивая в ее поэзии архетипичность материнского начала, очеловечивающего даже предметы быта, «подлинная жизнь, перевозданные, аутентичные чувства — боль, радость, страх, страдание и, конечно, любовь, во всех ее проявлениях, — вот обитатели словесного и музыкального оазиса Маховой <...> ей присущ первобытный синкретизм обрядовой песни, рефлексия поэта <...> растворяется в архетипике <...> в первобытном лиризме» [5, с. 204]. Если раззять двуединство и оценить только написанное, картина несколько иная. Песенный поэт по роду занятий вынужден идти на известные упрощения, вернее, укрупнения и обобщения, заменять хотя бы местами «объективный коррелят» эмоций на их название и педалирование. С одной стороны, в соединении с талантом и бескомпромиссностью это дает вышеназванную перевозданность и аутентичность, с другой — возникает риск романтического штампа, традиционных поэтизмов, за которыми непросто открыть «засловесное» пространство (а в песенной лирике вся суть в нем). В стихах Маховой есть и то и другое (отчего некоторые тексты раздражают), но есть и третье, и четвертое, и пятое, и т. д. Третье, например, — это естественная, как дыхание, игра с феноменами и сущностью, о- и распредемечивание, взаимоперетекание абстрактного и конкретного, условно-книжного и бытового. Так воссоздаваемая реальность мгновенно становится возвышенно-поэтической, ибо подчинена вдохновению и открыта метаморфозе. Стихи слетаются, как бабочки, и раскачивают лампочку; покинутая женщина в «очарованном плену» верна незримому двойнику возлюбленного («на плите остыл обед», «а двойник не ест, не пьет»); «мы покидаем кресла и диваны и разрываем оболочку сна»; «вот так любовь стоит на этой грани и медленно раскачивает дом», «Время медленно стекло / со стола, стекло дрожало, / что ты, милая, искала? / Что настало, то прошло...» [11, с. 74] и т. д. Общее направление, несмотря на все горести жизни, — «Показалось — ты сидишь в кресле, / Оказалось — ты летишь в небо» [11, с. 34]. Все это невозможно без четвертого — чувства слова, которое становится струной смысла (в последней цитате параллелизм фоносемантически оркестрован вариацией по-/о- и внутренней рифмой; чтобы поймать бездомные стихи-бабочки, нужно «тихонько снять тапочки» и взять сачок, и тут же — «а ты сачкуй, сиди в молчании»). Легко открывается и пятое — культурный слой (например, «Так долго протекали дни мои» — тонкая вариация на тему «Так долго вместе прожили...» И. Бродского или еще более тонкая на раннюю «бродскость» — «Захлопнуты воротники, как дверцы»).

Возвышенная игра, чувство слова, культурный слой — как бы само собой из этого следует шестое, а именно распаханность из быта в горестно-прекрасную метафизику существования, где, к примеру, нельзя избавиться от Тени: «Есть нечто пострашнее волка, / и мягче, чем лебяжий пух, / а ты — всегда — одно из двух, / ты лишь одно из двух, и только» [11, с. 135].

За шестым непременно откроется седьмое — и так без конца, потому что «во мне так много темных коридоров», где шаркаешь «отбитыми ногами по себе», «из одного угла в другой кочуя». Традиционные «женские сюжеты» и интонации в стихах Маховой тем и притягательны, что — без напряжения! — звучат с утренней туманной колокольни романтической метафизики, брезжащей прямо над... Сколько бы ни было вокруг быта, чего бы ни требовало тело — а все равно сплошная *душа*.

Трудно представить себе более яркий дебют, чем у **Дмитрия Бушуева**, пришедшего на филфак прекрасным поэтом, да, наверное, родившегося им (не случайна и популярность, и премия журнала «Юность»). Кто сказал, что рафинированный, на грани стилизации игровой эстетизм — обязательно «гомункул из пробирки»? Он может быть естественным, как дыхание, а неподдельность интонации даст сто очков вперед любому «реалисту». Таковы поразившие нас когда-то «Игры с солнечным зайчиком», где «одиноким барон / повторяет пред зеркалом первую часть менуэта», а затем ловит солнечного зайчика, «дурачась у зеркала» и дивясь «затейливым позам»: «А комарик пилил на каленом крылатом пере, / накаляются страсти: охотник и солнечный зайчик. / Было много азарта в той детской смертельной игре: / йод, разбитое зеркало, вата, обрезанный пальчик» [2, с. 53].

Бушуев — автор замечательной книги стихов «Усадьба» (1991 г.) и затем скандального, жестокого и трогательного «автопсихологического» романа «На кого похож Арлекин». Этот вдохновенный «сексуальный левша» (автохарактеристика), ныне внутренне свободный и язычески гедонистичный гражданин мира и Интернета — персонаж, провоцирующий неоднозначное к себе отношение. Собственно, «Усадьба» тем и хороша, что содержит «целомудренно-угаенный» гомосексуальный код: автор уже успел спасительно увидеть себя сквозь культурную призму и стать вечным героем (счастливая самоидентификация с актером на огромной сцене Культуры), но еще вербально стыдлив и целомудрен, балансирует на лезвии, упоенный своей пока еще тайной. Поэзия вообще располагает к намекам, а не к признаниям, и даже неизбежная (именно в силу иноприродности бушуевской «любви к жизни») декадентская «мертвечина» (от перверсивного эстетства и амбивалентных вызова/беззащитности до «заката мира») и декоративность здесь переживаются как бы *впервые*, со всей жадной страстью юности. И это счастливое «отклонение» прекрасно показывает природу самого искусства: оно свободное отклонение не по прихоти Фуко, Делеза и Бодрийара, а по собственной воле.

Мир юного Бушуева — праздник, в основе которого «позитивность» автономной поэтической личности, постмодернизированная мифология «колдовского ребенка», умеющего играть и со знаками насилия, разложения и смерти. «Легкомыслие» всего лишь оптическая иллюзия, фантазмагория, возникающая от переполненности тайной своего бытийствования, когда вокруг все волшебным поет и подмигивает, естественным путем (как в пушкинской «Осени») рождая вневременное вдохновение: «Славься, закройщик снегов, легкой жизни застрельщик, / мы с колокольным снежком и чисты и

легки, / где разоренные гнезда и тульский помещик, / ветхость уездов, руко-
мойники и рушники... // Снег мой осиновый с медом пчелиным, / с клубнич-
ным вареньем, / школьный снежок всю округу зубрит наизусть...» [2, с. 8].
«Северянинская» галантность («Октябрь играет солнцем, как шампанское») плюс «пушкинская» прозрачность («К чистописанию не стремятся солнечно /
пришедшие случайно озарения, / Но рано или поздно все исполнится, / ис-
полнится и Болдино осеннее» [2, с. 13] плюс тонкий «кузминский» позитив («...причесанные дети в школьной форме / поют акафист осени моей» [2,
с. 10]) — юный поэт играет слишком тонко и высоко, слишком искренне
похож на «сына гармонии», чтобы счесть это актерством или ученичеством
(похоже, последнего просто не было). Стихи читаются на одном дыхании, за
каждым открывается невысказанная даль и тайна самого себя — предмет
разгадывания и утаивания одновременно. «Я весь как секретер из кабинета: /
от ящичков утеряны ключи, / но в каждом есть письмо или монетка, / жемчу-
жина и гирька на весах» [там же]. И приходит ошеломляющее в своей про-
стоте открытие: большинство живет с малолетства покорно играя стандарти-
зованные социальные роли, а настоящий поэт просто *есть*, и его «наивная»
игра манерами и стилями (поди разбери, что здесь от синкретизма изначально
окультуренной души, а что от постмодерной эпохи) — истинное «каждый
пишет, как он дышит».

Однако при ошеломляющем чувственном богатстве — одна и та же ин-
тонационная реакция на разные темы, как будто и жизнь и смерть — всего
лишь захватывающие декорации к вдохновенному спектаклю в театре одного
актера. «Все нормально — аномально, / в венах ртуть поет, как в термометре,
/ и сгущается мыльный воздух, / всюду радужные пузыри... / Я тобою заря-
жен, осень, / на помпезной твоей гранд-опере, / я бегу по ночному городу — /
и взрываются фонари! // Как искрит золотой боярышник / в кабинете Ивана
Петровича, / носорог в кабинете мечется, / и расплавился телефон... / А душа
улетает соколом, / ее ловит другой сокольниковый — / в предынфарктных осен-
них сумерках / бьет по шее веслом Харон» («Кончина Ивана Петровича»)
[2, с. 38].

Неотвязно-многократна «осень» (в «Усадьбе» больше 40 слов с корнем
«осен» и сама «праздничность» преимущественно осенняя). И даже «есть
особая Муза — десятая, и она сильнее девяти предшествующих: это муза
больниц, возглавляющая скорбный сход, молчаливый темный праздник в
сумеречной аллее — под сводами аллеи длинный стол стоит, заваленный
сухими венками, цветут кислые виногреты, и в мутных графинах плавают
мертвые пчелы...». И эта «мертвенность» амбивалентно празднична и «игри-
ва»: «...и сидим мы за столом с другом в полосатых пижамах. Я проколол
ржавой вилкой зажаренную летучую мышь на медной тарелке — она пискну-
ла, брызнув мне в глаза чернилами...» [2, с. 30].

Своеобразие «праздника жизни» передает и тема детства — архивиро-
ванный файл запуска поэтической личности, рая/ада, представлений о чело-
веке и пр. А здесь: «...и, как цыплята, скрюченные дети / томились в банках с
соком и салатом...» [2, с. 22]; «Как эмбриона из стеклянной банки, / его возь-
мет пинцетом стиховед, / с безгловостью положит на клеенку / ребенка с
обезьяньей мордашкой...» [2, с. 26]; «Разбилась склянка — выбежал уродик /
и пальчиком поэту погрозил» [2, с. 27]. Обратный отсчет — к зачатию и рож-
дению — открывает «природный зоомагазин», в котором за игривой филосо-

фичностью проглядывает нечто романтическое, но жутковатое: «Пусть всяк мечтает о природе кровной, но нет кровосмешенья без родства! / Ведь и Земля рождалась в чьих-то муках. Попробуй, отставной натуралист, / зачать в пробирке черную мокрицу — это итог дурного колдовства. / Ах, Дуремар Аркадьевич, простите, Вы зоофилоинсекционист» [2, с. 33—34]. «Ребята постарше», напротив, античны и изящны: «Легкий мальчик из мрамора здесь возглавляет фонтан» [2, с. 11]; «И мальчик рыбку прутиком гонял / сквозь водоросли, гроты и камня, / тот прутик мои нервы щекотал / изысканно, по щучьему веленью» [2, с. 51]. Иными словами, «на входе» роится, как «пузыри земли», мелкая нечисть (с обширной романтико-иронической родословной и «серебряновечными» экспликациями), а «на выходе» — вечный мальчик в отсутствие девочек (и соответственно главной темы подростков и массовой культуры) и все более чувственный к концу книги эстетизм.

Настойчиво — и в «Монологам доктора Редлиха», и в «параллельной» ранней прозе «Осенний яд» — строится мифология/генеалогия. Из найденной в саду причудливой бутылки с надписью «Доктор Редлих. Москва», как джинн, вылезает альтернативно-декоративная вселенная «девятьсот тринадцатого», но не реального, а того самого, кузминско-дягилевско-сомовского и пр. Собственно говоря, и бутылка, и этот «девятьсот тринадцатый» важны не сами по себе, а как символы иноприродности, родовой метаморфозы: произошло чудо, «природа» (в кавычках, поскольку цивилизованная) плюс культура, от «сада» и «полуразрушенного храма» до «пробирки», произвели странное и прекрасное (для себя, по крайней мере) существо, пока что выражающее свою инаковость на языке поэзии и в ее родовых понятиях и даже находящее в этом чуде некую неканоническую святость: «Я отложу апостольские чтенья — / не праведник, и поучать не вправе, / мне нашептал юродивый Андрейка, / что у меня осенний мертвый взгляд. / Я в мир пришел не в праведных одеждах — / меня в саду осеннем откопали, / и о себе я ничего не знаю — / лишь только то, что люди говорят. // Мне верится, что стих меня понятней <...> Не проповедник я. / Не праведник. / Не инок. / Гость осени. Старинная дремота. / Снимаю шляпу перед этим миром / и ухожу назад в осенний сад. <...> Писать стихи — не трудная работа, / но главное — не чудо воскрешенья, / а воскрешенью служащий обряд» [2, с. 27—28].

Художник — существо, обладающее властью менять знаки, убедительно претворять «аномально» в «нормально», демонизировать священное и освящать демоническое, гармонизировать и превращать в легкую и звонкую музыку сфер адские вибрации. Здесь начинается дорожная развилка: процитированное *позволяет* принять эту светлую улыбку за чистую монету. Но все дело в знаке равенства неравных вещей. Свет тьмы все ярче, декорация все прозрачней, прекрасный преступник хочет быть узанным хотя бы посвященными — и вот умопомрачительный «сексопатолог Ястребов ловит своих мужчин», и рождается прекрасное дитя порока — мальчик «со шмелем на губе», и нарастает гул турбин «четвертой эскадрильи», катит «военщина черной зимы». Что бы ни скрывалось за роскошными «клипами» — слышно неприкрытое возбуждение; обостренное переживание инаковости рождает эстетскую вербальную агрессию: «Это постфактум тексты, / это китайцы накапали, / чтоб испугались мальчики, пописали перед сном. / Летят стрижи раскаленные, взрываются дирижабли, / мраморные гаремы я расшибаю лбом! // Четвертая эскадрилья, бешеная гамадриля, / когда летят над Бейрутом —

Бейрут погружен во мрак. / Летит шприцами серебряными заоблачная вампирия, / беркутом над Бейрутом консервный мой саркофаг. // Мы макрофаги неба, мы некрофилы света, / невыносимо сияют рубиновые облака!» [2, с. 41—42]. Оценим — пусть игровое — высокомерие новоявленного, однако очень древнего демона: «Но сохранившись в горах Тибета, с желтыми георгинами / вновь выхожу на сцену я, усыпанную листвой, / сжимая в перчатке кожаной ампулу героина, — / как бомбовоз, беременный третьёю мировой...» [2, с. 43].

Посреди распахнутой в жизнь и смерть гениальности «колдовского ребенка» («посреди»), потому что это место бытия, место души, «усадьба», где «Укол крыжовника. Кровинка. / Испуг в расширенном зрачке. / И оставляет след улитка / На свежей гробовой доске» [2, с. 48]), посреди осенне-музейных декораций («Смотрительница Сада не жива. / И мы всего лишь постояльцы дачи. / Как мамонты из бронзы, дерева / гремели ржавой челюстью стоячей» [2, с. 46]) разворачивается подлинное, прозрачно утаенное, перверсивно-кокетливое действие: «Поцелуй меня, бузина. / Поцелуй меня прямо в губы» [2, с. 44]; «Мой шмель, уйдем в беседки...» [2, с. 46]; «Ночь в запущенном саду. / Хочешь, я туда уйду? / Хочешь, вместе канем в бездну / сквозь озонную дыру? // Мы простимся навсегда, / и звенит на пальце ключик: / — Ванька-ключник, / злой разлучник, / сексуальная звезда...» [2, с. 49]) и, конечно, «Тайная наша вечеря», которую бесполезно цитировать, — сплошной тончайше интонированный код...

Таковы лишь некоторые «блиц-портреты» «другой» ивановской поэзии конца XX века. За пределами статьи остались поэтические миры И. Жукова, К. Мозгалова, Д. Лакербая, А. Непомнящего, Д. Шукурова... Они слишком разные, чтобы говорить о «школе» в строгом литературоведческом смысле этого слова, — скорее это литературное поколение, сумевшее отряхнуть прах «советской литературы» в ее «ивановском изводе» и сказать свое слово — слово свободного художника, отвечающего за сказанное только перед Искусством. Да еще перед тем, кем хочет.

Библиографический список

1. Агеев А. Уберите кошелек, или Только для сумасшедших // Вольное слово. 1991. Дек.
2. Бушуев Д. Усадьба. Ярославль, 1991.
3. Гинзбург Л. Николай Олейников // Олейников Н. Пучина страстей: Стихотворения и поэмы. Л., 1991.
4. Жуков И. Критический перекресток // Накануне. 1989. 12 авг.
5. Жуков И. Мама не кенгуру, а просто // Махова М. Маме кенгуру: Стихи; Песни. Иваново, 2006.
6. Жуков И. Одиссея Ивана Жданова // Накануне. 1988. 19 нояб.
7. Жуков И. Полтора батона, или Штирлиц опять в Иванове // Вольное слово. 1992. 13—19 апр.
8. История ленинградской неподцензурной литературы: 1950—1980-е годы: Сб. статей. СПб., 2000.
9. Кулаков В. Поэзия как факт: Статьи о стихах. М., 1999.
10. Ломосков В. Шесть бутылок пива. Иваново, 2006.
11. Махова М. Маме кенгуру: Стихи; Песни.

12. *Мозгалов К.* Зазеркалье // Вольное слово. 1991. Апр.
13. *Савицкий С.* Андеграунд: История и мифы ленинградской неофициальной литературы. М., 2002.
14. *Таганов Л. Н.* Сквозь волны времени: (К истории поэзии ивановского края) // Антология поэзии. Иваново, 2006.

И. В. Синохина

ИСТОКИ СЛОВЕСНОЙ СТИХИИ В ТВОРЧЕСТВЕ Н. И. КОЛОКОЛОВА

Рассматриваются потаенные способы служения истине в условиях 20-х годов XX века, архетипическая семантика деталей, мифологемная природа сказового и притчевого повествования в прозе Н. И. Колоколова.

This article reveals with the hidden methods of serving the truth in the 20s of the 20th century. The archetype semantics of details, the mythological nature of tale and parable narration in the prose of N. I. Kolokolov are also examined there.

Суждение о том, что «Москва родственна деревьям», и развернутое сопоставление «Трех сестер» с тремя деревьями принадлежат Л. В. Карасёву [3].

В славянской мифологической традиции известно почитание «священных рощ» (отсюда сближение дерева и храма). Дерево воспринималось как живое существо, вместилище человеческой души [1, с. 225].

В свете мифологемного контекста намерения мятежной орды в поэме Колоколова «Четыре момента»¹ (1919) пародируют революционные концепты, выглядят особенно устрашающе: сжечь леса, смять садов наряд... В названии главы IX «Камнем в дерево» («Мед и кровь») падежное управление на языковом уровне фиксирует беззащитную ранимость символа жизни, зависимость от того, что олицетворяет неодолимый полет инертного тела, пущенного слепо-глухой силой, убивающей нелюбовью страну древесной драмы.

Герои многих произведений Колоколова древо жизни раздергивают на дровяки для флагов, хоругвей и прочих знамен, под которыми гарцуют верхом честолюбцы, оттесняя друг друга на периферию жизни. В результате почва у подножия становится грязным месивом, а ствол, по которому «соки животноносные корней» должны бы устремляться к высшим сферам, искривляется под злыми ветрами истории (глава XII «Яблоня на посту» повести «Мед и кровь»), затем превращается в строительный мусор на пустыре, где отсыплются «бывшие люди», выброшенные из трактира («Последние Егоровы»).

© Синохина И. В., 2008

¹ РГАЛИ. Ф. 2591. (П. А. Попов). Оп. 1. Д. 183. 11/IV-15. (Рукопись Н. Колоколова); *Колокол Н.* От будней к празднику: [Фрагменты поэмы] // Красная новь. 1921. № 1.

Все идеологические эмблемы блекнут на фоне главной всеобъемлющей мифологемы, поскольку не затрагивают сущности жизни, плывут поверх нее, как «масло по воде» (название VIII главы повести «Мед и кровь»). Но если лики святых или пчела на яблонной ветви могут вписаться в ветви дерева — оси мироздания, то ошестинившаяся пятиконечная звезда или скрестившиеся серп и молот выглядят чужеродными. В библейской символике плоды на древе познания символизируют добро и зло, порождаемые человеческой сущью.

В свете мифологемного мышления следует интерпретировать реплики персонажей, обращенные друг к другу в прозе Колоколова. Например: «Встань, прах человеческий!», «Образ свой в грязь кинул...» [4, с. 58], — звучит воззвание в устах пчеловода, словно черпающего мудрость веков прикосновением к серебряной бороде. «Сверните хоругви!..» [4, с. 199], — говорит умирающий чекист доктору, включившемуся в борьбу идей. «Море под корову» [4, с. 238] — такое пожелание доящей Ульяне означает конец вражде, затянувшейся на год и сменившейся благоволением кузнеца.

Род занятий персонажей тоже связан с мифологемными архетипами: солдат, лекарь, няня, кузнец, кабатчик, протопопова вдова (ассоциирующаяся с супругой неистового защитника своей веры Аввакума). Имена персонажей непременно соотносятся с античной, христианской или языческой мифологией. Например, дед Ахиллий, переименованный односельчанами в Хилого, — пародия на неуязвимого троянского героя, могущество которого вскормлено мозгами медведей и печенью львов («Нетово нашествие»). Ульяна Родионовна Барашкова — все корни в имени означают понятия, сакрализованные древними славянами, символизируют плодородие земли («Оттепель»). «Мирошкин день» — рассказ о десятилетнем подпаске, помазаннике божьем. Мирон — мазанный миром.

При публикации первоначальные названия менялись на более нейтральные, не содержащие представлений, связанных с древними поверьями, но еще живущих в среднем массовом сознании простонародья. Например: «Злые воды» — «В шахте» (Рабочий край. 1925. № 2); «Хозяин Сытных Камней» — «Сытные Камни», «Сторож Сытных Камней» (Красный ткач. 1924. № 12); «Нетово нашествие»² — «В деревне» (Красный ткач. 1924. № 13); «Поединок на доске» — «Переписка углем» (К «Рабочему краю»: Лит. прил. к газ. «Рабочий край». 1926. 21 нояб.); «Студенецкая быль» — «Дедова загвоздка» (Труд и производство. 1925. № 3/4); «Последние Егоровы» — «Родитель Жоржа»³.

Как и названия стихов, первоначальные заголовки рассказов тоже содержат концептуальное зерно, апеллирующее к мифологемной символике христианского и языческого сознания. Но Колоколов проецирует на современный материал только те архетипы, которые не разъединяют, а роднят мифы с казалась бы полярным содержанием. В его текстах языческие и христианские объекты сакрализации тесно переплетаются, приводя к неожидан-

² В журнале «Город и деревня» автор пытается напечатать рассказ под первоначальным названием «Нетово нашествие», о чем пишет Вихреву (РГАЛИ. Ф. 94. Оп. 1. Д. 165. 7/VII-25).

³ «Родитель Жоржа», «Георгий Юрьевич» — так называли рассказ «Последние Егоровы» рецензенты сборника его произведений в издательстве «Федерация» (см.: Потаенная литература: Прил. Иваново, 2000. Вып. 2. С. 62).

ному художественному эффекту. Например, праздничный ориентир — Введение во Храм Господень будущей Богоматери — сюжетно предваряет последствия жара, перекинувшегося с кузнеца на вдову, что «семь лет воды не замутила» («Оттепель»⁴). Одновременно библейский сюжет контрастирует с силой земной любви, неуправляемой и неконтролируемой, грешной, где придется, под бляенье овец и чавканье телок.

Начало оттаивания сердца вдовы для поздней любви подсказано приемом параллелизма: согретая небесным огнем береза «сронила вчерашние белые клочки, на ветвях ее искрились прозрачные капли». По дороге к бабке, избавляющей от плода тайной страсти, Ульяна внезапно меняет решение. Прислонясь к матерой березе, женщина, ставшая «кузнецовой сытью», видит у подножья дерева следы ястребиного пира («Ишь, пеструшку ястреб заклевал...») и других насильственно прерванных жизнью (сбитые ветром прошлогодние листья, расклеванные дятлом еловые шишки, семейство грибов, схваченных морозом) [4, с. 223]. Греховность, болезни, силы зла изгоняли из плоти «березовой кашей» и березовым веником. Это дерево символизировало свет, чистоту. Жизнеупористость героини коренится в ее нерасторжимой связи с матерью-сырой землей, с которой они живут по одним законам.

«Злые воды» — губительная сила, прорвавшаяся на свободу из каменного мешка. «Хозяин Сытных Камней» — в диалектах так называли медведя, с которым у древних славян связывалось благоденствие земных и горных пород, поскольку камни тоже считались прахом земли-кормилицы, проросшими к свету костями ее. В «Предрассудке» Никита именно так воспринимает ночной пейзаж: «Черные облака цепенели в безлунном небе. Стояла по-прежнему вязкая тишина. <...> А по овражному склону белели мелкие камни, как просыпанные кости» [4, с. 276]. Сама коллизия по поводу оставшейся неисполненной предсмертной материнской просьбы ассоциируется с еще одним поверьем, будто живые голоса не исчезают, а уходят под землю, где окаменевают.

Долго ли Уральские горы будут щедрым даром для жизнерадостных рабочих, устранивших медведя-сторожа, заваливавшего рану земли (шурф), — вопрос, остающийся открытым в рассказе «Сытные Камни».

На графическом уровне невербальным способом передачи информации являются паузы. Фразы начинаются и заканчиваются многоточием, указывающим на относительность, подвижность содержания, зависящего от типа сознания читателя, который входит в контакт с текстами Н. Колоколова. Тире, разрывающее предложение, меняет взгляд на объект повествования в пределах одной фразы и ее ритмико-интонационное звучание.

Узкоутилитарное, насильственное, механическое преобразование земли продолжается в рассказе и после убийства медведя. А камень из объекта сакрализации уже превратился в «булыжник — оружие пролетариата», народной этимологией названного «пролета», то есть нечто не укорененное, недолговечное, пролетающее мимо подлинной жизни к воображаемым абстрактным целям.

«Нетово нашествие»: «неты» — существа, находящиеся вне закона, преступники, нечистая сила — все, что скрывается от света ясного дня. «Быть

⁴ Рабочий край: Лит. альм. иваново-вознесенских писателей. Иваново-Вознесенск, 1929.

в нетях» — значит быть на нелегальном положении. В названии синтезировано отношение к новой власти крестьянства, жившего в русле традиций христианских и языческих представлений.

Идея всеобщей взаимосвязанности, взаимозависимости, «мысль семейная» объединяет не только мифологемные архетипы, сюжеты, но и язык повествования. Из слова, согретого внимательным творческим взглядом автора, как из зерна, прорастают во все стороны, в глубь веков и в сегодняшний день забытые, неожиданные для стереотипного мышления смыслы.

Рассмотрим на конкретном примере, как, возрождая утраченные родственные связи корней, Н. Колоколов тем самым обновляет читательский взгляд на явление, дает возможность осмыслять его с разных точек обзора: из пережитого опыта предков, из суеты настоящего и с точки зрения вечности.

Название повести «Студенецкая быль» определяет сказовую манеру повествования. Но даже из фрагмента, опубликованного в журнале «Труд и производство», ясно, что «быль» — это не просто жанровое обозначение. Существительное «быль» родственно таким словам, как «быти» (буйный), «буш» (сильный, смелый), «буй» (рослый, большой), «былой» и «быть» (расти, разбухать; позднее: становиться), «былье» (трава) [5, с. 61, 65]. Студенецкая — от «студь» (холод), того же корня, что и «стыд» (срам, позор), только с перегласовкой *у/ы* [5, с. 430]. В результате обнажается семантическая множественность и бездонность эпитета рядом с определяемым многозначным существительным.

Студенцы — ключи, бьющие из недр земных, над воркующим голосом которых в древнем селе «плыл колокольный звон», пока *не выросла* фабрика. Появилась как все живое, но радости не принесла: тяжело было видеть, как «над ключами прозрачными *забил в небо* черными струями дым, а *плавные колокольные голоса проломил неистовый гудок*» [4, с. 240]⁵. Вместо совместного поиска новых путей избавления от досадного застоя голубые ключи и гибельный черный дым бьют в небо вразнобой. «На колокольный плавный звон и на воркующий голос вод тянулись гуськом по пыльным полевым дорогам, по путаным тропинкам люди, ушибленные недугами и подломленные увечьями, сгорбленные вековым смирением» [4, с. 240]. А «на дым да на гудок по сухим проселкам сошлись сотни людей к фабричному красному корпусу» [4, с. 240—241].

Полярность двух крайних проявлений русской души представлена и в пейзажных, и в звуковых, и в цветовых реалиях. «Не лекарства чудесного искали они, — труда; не в молитве ждали радости, а — в шуме станков» [4, с. 241]. В самой тональности фразы звучат чаяния молодости, жаждущей развернуться на просторе. Это напев лирической песни, душевного и физического томления по счастью во всей его полноте. Красный цвет в тексте символизирует горячую активность, нетерпеливое волевое вмешательство в неспешный ход жизни, властность и пылкое раздражение «запечным мужичьим спокойствием». Указывает он и на цвет «камня», отличного от тех «священных камней», из которых строились церкви и города в древности: кирпич — продукт человеческого изобретения.

Затаенное неприятие «голубого» и «красного», враждебных друг другу, — прозябание косного провинциализма с его глубокой нравственной

⁵ Здесь и далее курсив в цитатах мой. — Авт.

интуицией и одухотворенным самосозерцанием — и мятущиеся души, жаждающие перемен, технического развития и материального достатка.

Для топоса с пассивно-кротким мироотношением в русле христианских догматов красный цвет — тревожный, не похожий на золотистый, янтарный, смоляной, медовый. Женская логика («Ну хоть и не съедим мы другой раз сытно, но зато попьем скусно. В других-та деревнях, вон, из прудов воду хлещут! А наши ключи чище стекла, и к тому же — от Бога благословенны, пользительность имеют») неприемлема фабричными, которые «потатарили» древнее село в рабочее местечко, оцепеневшее в годы гражданской войны [4, с. 240].

Если «приплюснутые к земле», не расстававшиеся с плугом и бороной жители относятся к ней как к вечной кормилице, а к чистым ключам и к храму (духовному каналу, связующему земную энергию с небесной) тянутся гуськом — о фабрике речь идет как о механизме, пускаемом безликой, безымянной силой.

«С *бабьяго базара*» пришла Наталья с вестью о том, что фабрику скоро *пустят* [4, с. 242]. В грамматических формах слов фиксируется истинность тревожных предчувствий. «Под фабричный одолен попасть — горе принять». От фабрики исходит безразлично-насильственное вторжение, не обновляющее, а искажающее лик уникального места: «ключи потатарила», «котловин землекопы *нарыли*» (как о слепых кротах). «И ушла половина ключей в тесную канаву, а другая обернулась тинистыми прудами. Один только родник уцелел, да и тот в колодезный сруб *заперли* — словно на узду *посадили*» [4, с. 241].

Не согретая солнечной мужественностью, загоняемая «под одолен», женственность уходит под почву, становясь носительницей темных сил (баба яга, «злые воды»). Древнее село — гордость прадедов и дедов — превратилось в поеелок — нечто несуразное, без корней и перспектив, без права на серьезное к себе отношение. «...Не улицы — утиная топь». Домишки по самые окна в грязи увязли. Санпропускник между городом и деревней. Отростки ключей под землей «во все стороны растопырились всяческими струйками» [4, с. 241]. А промеж молодежи «озорство» идет, «головорез на головорезе». «Окомсомолила» ее фабрика, «от Бога отмахнула», «обасурманила» [4, с. 242].

Внимательный иронический взгляд автора останавливается на инвариантах мифологемы света и тьмы: от фабричного «свету раньше время глаза закроешь». Но и лампадка не светит — чадит, возрождение клуба, «обрасставшего плакатами», освещено четырьмя керосиновыми лампами. Мечтаемая электролампочка — тоже огонь мертвый: «Лучинку в самовар сунуть — и ту от его не запалить» [4, с. 242—243]. Слова «нездешнего», «с деревянного помоста» говорящего «о смычке», — груда концептов, не освещающих реальное течение жизни.

Как смотреть на перемены? «За Бога да за землю-матушку держаться» — или «от икон рыло воротить» да «в пролетарию рваться, с того и дуrolомить без совести»? Молодежь тянется от «избы, что черна да стара, куда-то в сторону» [4, с. 243]. А «вредное это направлень» или нет — ответ присутствует в сюжете и пейзажных описаниях, символика которых раздвигает рамки сказового повествования об ожидании «большого и долгожданного праздника», «какого-то бодрого перелома» в жизни местечка. Синие сумерки «сгу-

стились в темный, как сталь, вечер. Совиными глазами светились окна изб» [4, с. 244]. Затеплившаяся в сердце Тимофея Корочкина надежда на то, что семья внука найдет достойный исход кипучим силам, окрасила окна клуба в золотисто-желтый цвет — «*будто* здание до краев *налито* было *медом*» [4, с. 246]. Но меда высшей мудрости в докладе заезжего нет, ибо в основе его лежит отказ от традиций. Это обнаруживается не только на скрытом мифологическом уровне, но и объективно, лежит в нравственно-этической природе сюжетной композиции, что само по себе свидетельствует о факте секуляризации сознания и забвении «истоков» («юным ветхий свет несносен»).

Противостояние цветовой символики «голубого и красного» наполняется новыми смысловыми пластами в рассказах «Нетово нашествие», «Шкура ласковая», повестях «Полчаса холода и тьмы», «Мед и кровь». Минуя рамки отдельных произведений, реплики персонажей, слова, исчезающие из толковых словарей советской поры, смысловые грани в символике деталей, имен — все это перекликается, взаимодополняя друг друга, сливаясь в перезвон, и рассматриваться должно не в хронологическом или жанрово-тематическом порядке, а как целостное полифоническое полотно, в котором содержится эпическое знание о тайной сущности жизни.

Многоассоциативные связи создают взаимосплетения, которые не поддаются расчленению и препарированию. Например, в словосочетании «Красный Октябрь» для Колоколова важен факт утраты эпитетом этимологических связей, поскольку его исконные значения вытеснены только одним, политическим. Для наглядности сравним с украинским вариантом: «Хай живе Красный Жовтень!». Буквальный перевод («Да здравствует Красный Желтый!») лишь подчеркивает утраченное словами цветное значение. «Красный корпус фабрики» — эпитет указывает на строительный материал «кирпичного прогресса». Красноармейцы — исполнители воли «нетовой» власти. Красные капли, упавшие «из перецеловавшихся рюмок на белую скатерть», — предвестники революционной беды, которой обернется хмельное благодушие за праздничным столом в день Преображения Господня. Красные распаренные руки жены фельдшера, зажавшие бирюзовые сережки покойной жены профессора истории. Красный глаз светофора, указывающего путь в черную бездну. Утратив цветное значение, символика слов с основой «красн» все чаще воспринимается как знак несчастья, связанного с исторической датой.

Нюхнув на фронте газов и крови, солдаты в произведениях Колоколова возвращаются домой контуженными, с «подшибленной душой». По народным поверьям, не остывшая пролитая кровь излучает волны темного демонического свойства, воздействующие на человека. От диких воплей Любимова пахнет «смертушкой и сырым развороченным мясом» («Мед и кровь»). Сергей («Нетово нашествие») и Павел («Студенецкая быль») смотрят на жизнь «по-новому»: без былой доброжелательности, исподлобья, не верят «ни в Закон Божий, ни в землю-кормилицу». С отцами и дедами у них «глаз разный и дух разный». Во всех произведениях речь идет о травме духовных органов восприятия жизни.

По христианским представлениям, одна из задач человека — благоустройство и благоволение на отпущенном судьбой участке жизненного пространства, «огороде» в общем земном саду. Чад войны «отворотил» солдат от родной земли, перевернул их ценностную ориентацию. Нарушая традицию, они переступают за черту своего, через границы дозволенного. «Студенецкая

быль» — повесть о сердечной остуде к родине, обернувшейся стыдом «холода и тьмы» захолустного запустения. Если учесть еще одно значение корня «студь», новым открытием дополняется семантика названий «Полчаса холода и тьмы» и «Студенецкая быль». Самый хмурый, вьюжный месяц февраль древние славяне называли «студь». В метафорической многослойности диалектов фиксировалось остывание жизни, не согреваемой бережным любовным теплом организующей заботы.

Именно такому слову, хранящему простое и ясное видение противоречивого, многомерного, непредсказуемого мира, служил Н. Колоколов. В этом было его творческое противостояние одномерно-искажающему, мертвящему слову-оружию государственной идеологии.

Название «Полчаса холода и тьмы»⁶ следует понимать, помня об этимологическом значении слова «холод» — «стыд» [5, с. 430]. Только тогда высвечиваются концептуальные грани и становится понятной причина авторской усмешки при взгляде на драму героев в повести. В порыве уязвленной гордыни, с высот достигнутого на научном Олимпе положения профессор переступил через самое заветное: изгнал сына из родного дома, отказав ему в праве на семейную связь. За этим следует новое преступление: измена своему делу. Историк оставил заведование кафедрой, замкнулся в камерке с запасами для доживания, достойного мелкого грызуна. Мешок с крупой и одинокая подушка, вздымающаяся на постели, как последний вздох умирающего, усиливают эту аналогию.

Стыд, переживаемый интеллигенцией (историком, искусствоведем, журналистом, принимающим «своих гостей» только ночью) — это крест расплаты за отрыв от реальной жизни, оказавшейся в «красных руках» невежественной власти. Но это и стыд бессилия перед злом, с которым трудно бороться, ибо оно тоже укрывается от действительности: в запертых пустых спецвагонах, в беззвездной тьме, заглядывающей в вокзальные окна, в летящем в черную бездну поезде с набитыми в теплушки для скота пассажирами, в холодном безлюдье скрежещущей железом Москвы...

«Меня ограбили», «Я на себя не похож», «Хочется быть ближе к животному теплу», «Мне некуда идти», — перекликаются реплики персонажей. Сказка «Руслан и Людмила» содержит в себе сюжетную проекцию на происходящее в жизни зрителей, слушающих оперу в Большом театре. Злой карлик из зависти к более достойному претенденту на любовь красавицы расстроил гармонический союз. Власть над судьбой деви, обретенная воровским способом, недолговечна и нелепа, как французское пирожное в театральном буфете, оказавшееся сушеным картофелем с издевательским пожеланием «*Arretit bon*».

Мы слабы, но чьей-то невидимой силой
Прибиты к кресту бесконечных работ.

(«Четыре момента». Гл. 1, ч. 3)

В поэме «Четыре момента» крест символизировал традиционно-христианское страдание за истину, попрание смерти силой духовной, распятие плотского, преходящего, во имя духа вечности.

⁶ Недра. М., 1929. Кн. 15.

В универсальном же мифологическом масштабе крестовидные геометрические символы подобны мировому древу и актуализируют идею центра мира, где происходят главные события и ритуалы, откуда открыт доступ во все сферы мироздания. В горизонтальной проекции модели мира крест — перекресток, где сходятся пути по всем направлениям, решается судьба героя. В русском фольклоре перепутье — это и место средоточия сверхъестественных существ, нечистой силы. Фразеологизм «нести крест какой-то ошибки», неверно сделанного выбора, более всего применим к героям повести «Полчаса холода и тьмы».

В колоколовском повествовании, ориентированном на фольклорную и христианскую знаковые парадигмы, даже слово «Совет» возрождает более широкое и многогранное, исконно русское содержание, чем то, какое вкладывали в него за годы существования «волсоветов». В «Оттепели» кузнец «готов хоть завтра же идти с Ульяной в Совет» [4, с. 239]. Тональность фразы больше соответствует не упоминанию о месте регистрации в госучреждении, а о церковном венчании, куда шли за божьим благословением на брачные узы. Одновременно слово ассоциируется и с фразеологизмом «Совет да любовь!», то есть с всеобщим благословеньем открыто явленной миру связи, а не на задворках «тишком, будто не было».

В самом названии рассказа «Оттепель» содержится напоминание об утраченном мироощущении, когда добро и зло уравнивались, а восстановление гармонического союза антиномичных полюсов было неизбежно и неотвратимо. Герой — кузнец. В поэтических воззрениях славян на природу этот род занятий связывался с деятельностью небесного громовержца. А героиня — вдовствующая земледелица. Синтезирующий «стиль стилей», естественно перетекающий в читательском сознании один в другой, ощутим в рассказе на всех художественных уровнях.

В основе сюжета любовный поединок, в котором сила материнства побеждает безответственную тягу героя к воле, стремление «не быть усупоненным в семейную лямку». Вороватый «цыган» свободу «полюбил во весь вкус», Ульяну же «без закона не возьмешь». Противоборство показано не только в человеческих отношениях, но и в состояниях земли и неба, времен года. Природа конфликта осмысливается вне социально-исторических проявлений, как единственно важное дело жизни, естественно развивающейся и не нуждающейся в словах, эстетизирующих ярлыки, навешиваемые на тысячи явлений, но не выражающих плоть и кровь каждого отдельного случая.

Сюжет традиционен и вечен, как фольклорная песня, хотя нигде в повествовании не декларируется неотменимая истина: «Тело не хочет знать истории». Оно хочет полноты самореализации в любви и работе. Любовная фабула помещена в языковую стихию, ориентированную на фольклорные жанры. Все персонажи раскрываются в речевой манере. Веское, ядреное, лаконичное слово афористично, поскольку в нем аккумулирован народный взгляд на дисгармоничные отношения. Авторская ирония лишь пунктирно оттеняет необходимые акценты в психологических мотивах поступков героев. «Ритуальная реальность» звучит в пожеланиях и приветствиях, самые важные соображения собеседников облечены в пословицы и поговорки: «Укрыл — что украл»; «Лепить-то лепи, да влипать погоди» [4, с. 235]; «Уж коли на грешную точку дело у вас пошло, оженились бы, да и жили по-людски — конь вам без потычки, закром без переводу!..» [4, с. 237].

И в лексике явное родство с фольклором: «У меня день черный, мне сидитем хоть подыхай, а он будет утробу свою тешить?»; «Стала ваша матка — кузнецова сыть» [4, с. 222]; Ульяна отмахивается от соседа, как от нечистой силы или лесного зверя: «...иди, мужик!.. Ломать меня не вздумай <...> Иди, иди!..» [4, с. 220].

Даже в фонетическом варианте отчества Ульяны [*Родивонны*] слышна реакция деревни на сложившуюся эротическую коллизию. Деревня, село, уездный городок как мелодические вариации мотива дома, семьи противостоят враждебным звукам большого города. В прозе Колоколова это целостные организмы, обладающие своей топографической «внешностью», нравом, типом психической реакции на события внутри и за пределами топоса. Попытки «засланцев» из каменного города «всех перессорить» долго разбиваются о кровное родство, проросшее «из сословья в сословие». Пока захолустная ментальность монолитна, не расшатана семенами раздора, об этих «действующих лицах» сообщается в глагольных формах единственного числа: «деревня посмеивалась, наблюдая» («Оттепель»), «гордилось древнее село своими ключами» («Дедова загвоздка»), «городок захлопал ставнями, как встревоженный улей» («Мед и кровь»).

Вся сцена сватовства в «Оттепели» соткана из фраз и деталей со знаковой семантикой. Невеста доит корову. Гость произносит первую фразу, говорящую о его мирных намерениях после затянувшейся на год вражды: «Море под корову <...>». Ответ звучит тоже с подтекстом недоверия к «черту чумазому»: «Ты бы днем... лучше» [4, с. 338]. Для вдовы в данную минуту процедура доения важнее эротической тяжбы. Весь диалог вплоть до финальной фразы «Быть дождю!» выдержан с ритуальным подтекстом: налаженный союз должен быть благословлен свыше, осенен крестом по христианским и языческим понятиям. Мы еще вернемся к мифологеме креста, бездонной, вбирающей все остальные в колоколовской метафилософии. В звеньях фабульного развития все художественные приемы вызывают ассоциации с природным явлением долгожданного союза неба с землей, орошения влагой жизни, оплодотворяющей и освящающей.

«И будто зашатались, застучали, посыпались связанные корьем прясла <...> Кузнец, неторопливо дергая пальцами бороду, ожидал, когда вдова призатихнет. <...>

— А ведь я тебе строже покойной Василисы буду, не дам вольничать да верховодить, — только и сказала Ульяна. Василь Палыч вздохнул покорно — «где уж там верховодить», — и почуял на своем затылке вернувшийся через четырехлетие наблюдающий взгляд» [4, с. 238—239].

В иносказательной форме, связанной с фольклорной образностью, выражено взаимное согласие героев:

«— Ишь ты, ни одного облачка! Сушь стоит не ко времени. Крепко дождичка надо!

— Да, надо дождичка, — глуховато, как из подполья, отозвалась со двора вдова» [4, с. 239].

Знаковые детали, взятые из фольклорного и крестьянского обиходного арсенала, синтезированы в одной фразе (облако, дождь). Диалог и раздумья Ульяны над ведром с молоком, которое «пенилось на редкость пышно», и финальная фраза повествования закрепляют это впечатление: «Быть дождю!» [4, с. 240] — то есть продолжению связи, в которой родство через Маруську

накрепко завязано будет: «В одной избе дела всякому подходящие, всякому свои, — не то чтобы бабе — мужичьи, а мужику — бабьи» [4, с. 238—239].

Как и в эпических жанрах фольклора, у Колоколова нет глубоких психологических разработок, поскольку герои дышат в едином ритме со своей средой обитания. И в природе, и в людях параллельно отмечается смена состояний, необходимых для ощущения своей сопричастности незавершенному целому миру. «В стенные щели шли волнующие оттепельные запахи. Три года вынужденного отрыва от бабы обернулись в груди нестерпимым жаром. <...> Казалось, весь воздух в кузнице был полон волнением, палившим Василь Палыча, и оно насильно охватывало бабу» [4, с. 219]. Экспозиция длится, пока кузнец «спешит мимо соблазна домой», «спит жарко и душно», увидев перед закрытыми глазами «*перезревающее* лицо Ульяны».

О зиме сообщается в метафорах, уместных и в описании человеческого противоборства, и заготовок овощей впрок: «...в двое суток *нетерпеливый* снегопад *опрокинул* осень» [4, с. 217] (ср.: «Встреча с поздоровевшей полногрудой Ульяной *опрокинула* его смутные намерения, направленные к раскрепощению Мишки от бабьих дел» [4, с. 240]; «...*полнилась* деревня черствым, почти осязаемым, снежным *хрустом*»; «Но вот к *укутанной* снежной дороге *подкралась* введенская оттепель» [4, с. 217]).

Пейзажные описания сосредоточены на борьбе тепла с холодом, весеннего озорства с зимним оцепенением. «Сизо-серое небо снизилось, и вихрастый ветер просквозили струйки тепла. Ближе к полночи снега и облака зыбко связал дождь <...> К утру дорога потемнела, снег стал мягким и липким. <...> Лед спрятался под водой <...> Береза <...> сронила вчерашние белые клочки, на ветвях ее искрились прозрачные капли» [4, с. 217].

Герои видят и слышат вокруг то, что созвучно их ремеслу и темпераменту: «Январь выковался на диво гулкой. Под морозами ломался наст. Выйдешь на улицу, вдохнешь взасос — и сразу помолодеешь вдвое... Василь Палыч любил иногда послушать, как морозный молот громит поля» [4, с. 221]. «Вспоминала вдова, какие длинные ледяные сосульки свисали в марте с крыши; пророчили они — длинный лен. “Намнут бабы уйму, всю зиму прясть будут. А у меня до льна никогда рученьки не доходят, все на мужицком положении маюсь”» [4, с. 236].

Человеческая трусоватость «цыгана» контрастирует с эпической уравновешенностью вдовы, что звучит в лексике ее речей, сказочной тональности повествования. Его сущность фиксируется повторяющимися глаголами совершенного вида: «...*выскользнул* из кузницы и, *воровато оглядевшись*, тотчас *вернулся* с трезвым и смущенным видом спохватившегося человека.

<...> — Пришли мальчишку... — *прохрипел боязливым и просительным* полупшепотом. <...> — Спокойненько от лишнего разговору, а?..

<...>

— Подыскал ты, Василь Палыч, времечко меня осилить <...>

— <...> И про нышешнее молчок — будто не было» [4, с. 220].

«*Поскользнулась* баба на введенской оттепели» — зато искуситель «*выскользнул* из опасности, грозившей его свободе и беззаботности».

В речевой стихии живого языка с каламбурно-игровой основой наконец-то появляются торчащими аббревиатурами слова и понятия, существование которых никак не связано ни с какой языковой системой. Они ломают песенный лад русского языка: волкрестпом, волженорганизатор, сельсовет с

покоробленными плакатами и чиновником «в замызганном пиджаке с продранными локтями». Бабья заступница — «низкорослая, худенькая визгуша»... Все эти социально-политические реалии блекнут и мельчают, теряясь в истории о том, как в чаду испуганного раздражения герой действует грубо, оскорбительно суетливо, а вдова, попавшая в беду, сохраняет достоинство, хотя и не деликатничает с виновником своего положения, превосходя характер кузнеца силой материнского долга.

Взрослые персонажи не столь симпатичны Колоколову, как дети, поскольку они часто бывают отторгнуты от поэзии мира, закрыты дурными привычками, предрассудками, страстями. «Лицо ребенка», «Встречные голоса», «Радужный пояс», «Дегтярный дух», «Чудо-рыба» — это названия сборников рассказов о детях, которым вся земля — ласковая мать. Они счастливы насыщением изменчивой красоты звуков, запахов, красок, пестрой мелодикой деревенского быта. Им весело жить под ласковым синим небом в летнее трудовое утро, где все свое, привычное, незаменимо-дорогое: зеленые луга, ясное солнце, коровы, овцы, телята, женские голоса и звон молочной струи в подойнике. Сила слова Колоколова выявляется в умении оживить в памяти читателя эту забытую неразрывную связь с первородным ощущением счастья земного бытия, пережитым в детстве. Неприязнь — состояние, чуждое детской душе. Даже поединок юных соперников в любви выливается не враждой, а состязанием в стихосложении («Поединок на доске», «Мирошкин день», «Ручеек»).

Характерные для конца 20-х годов акценты, особенно для литераторов, работавших «под горьковским крылом», ощутимы и в прозе Н. Колоколова. Например, в рассказе «Злые воды» изображен бешеный порыв, готовность человека «...кинуться на стихийную силу, подмять ее под себя, взнудать и ударить так, чтобы она взвыла от боли, чтобы она укрощенным зверем заползала у ног, покорными глазами вымаливая пощады» [4, с. 251].

Но под этим обязательным пафосом таится сугубо колоколовская природа конфликта: вражда людей разной породы. Опытный, задавленный страхом перед слепой стихией подземных недр, пожилой Мишарин — и беспечный молодой Никита Широких, не унывающий и не верящий ни в Бога, ни в черта. В молодом шахтере «перед лицом смертельной опасности жажда жизни напрягалась, звучала в каждом уголке тела, горела в каждой капле крови и рвалась наверх, на землю, к солнцу...» [4, с. 250]. Автору симпатична эта тяга к активной жизненной позиции. Но характер описания водной стихии убеждает в том, что она занимает писателя не меньше поведения людей в экстремальной ситуации. Ни пассивная озлобленность Мишарина, ни яростный гнев Широких не помогли бы найти выход. Злые воды оказались побеждены подоспевшими на лодке товарищами. Звучит здесь, как и в других произведениях Колоколова, мотив страха, который в человеке сам по себе опасен для жизни. Он «размягчает мускулы», «непобедимой слабостью наливает с головы до пят». «Хотелось не то умолять кого-то, не то жаловаться — сиротливо, беспомощно» [4, с. 251]. У многих персонажей Н. Колоколова страх гасит жажду жизни, несет гибель, травмируя душу.

Ситуация борьбы за два «сланцевых горба» между людьми и медведем тоже освещена в двойном ракурсе. Описание деятельности людей из рудничного поселка ведется в ускоренно-мажорном темпе, выражающем профессиональную деловитость, озабоченность результатами разведочных работ, сро-

ками начала разработки шурфа, который впишется в горнопромышленную карту Урала.

«Хозяин» Сытных Камней озабочен надвигающейся опасностью, исходящей от чужаков, явившихся в его обжитой угол. Поединок бесконечен: люди роют шурф — медведь заваливает его. Веселый Андрей Босых убивает «врага». Читательские же симпатии до последней строки повествования сохраняются не на стороне разведочного десятника, а на стороне его жертвы. Интонационный строй описания, передача смены психологических состояний, выбор объектов изображения — все смещено в сторону большего внимания к хозяину дикой природы. В мифологемном контексте, где медведь считался посланником неба, первопредком рода человеческого, десятник двумя пулями убил и прошлое, и будущее, выстрелив в глаз и в ухо «врагу».

Мажор, характерный для произведений 20-х годов, написанных на индустриальную тему, звучит и здесь, но скорее как обязательная дань канону. Понимая рабочий энтузиазм людей, автор не может не сочувствовать жертвам их преобразовательской деятельности.

Авторская позиция в прозе Н. Колоколова предельно объективирована. Объем рассказов невелик, но в каждом, как в капле росы, отразились сюжетные, стилевые особенности, мастерское владение словом, умение создать емкий запоминающийся образ во всем его драматизме. Искренний поэтический взгляд автора свободен от идеологических наслоений.

Контраст величественного пейзажа и бытового портрета порой наполняет новой энергией силовое поле его произведений. Пейзаж переводит конкретный случай персонажа в план максимально широкий, вневременной. Игра ритмами в разных частях рассказа, контрастная характеристика героев в их отношении к жизни и смерти, к себе и пространству человеческого общения — все это останется в повести-притче «Мед и кровь».

В поэзии Н. Колоколова лирический герой находится в идеальных отношениях с родной землей. В прозе фиксируются последствия утраченных контактов между матерью-сырой землей и ее детьми. В то время когда Маяковский воспевает «страну-подростка», которая «строится, дыбится», для персонажей Н. Колоколова это скорее «большая сторона», «мать-старуха», которой «жить осталось год или два, иль тыщу лет» (Твардовский).

В бытовом и словесном слоях различных типов человеческой ментальности (земледельцев, солдат, «бывших людей», превращенных в безымянных пассажиров локомотива истории, ученых, журналистов, совслужащих) писатель рассматривает причины утраты восприимчивости, степень «преломленности» отражения реальности, приводящую к потере здравомыслия.

За счет переплетающейся лексической семантики в творчестве Н. Колоколова создается хоровое полотно, состоящее из множества партий, звучащих в разных регистрах. Непосредственная реакция представителей различных типов сознания на исторические процессы содержится в их языковом переосмыслении. Такое сказовое слово несет в себе тайное эпическое знание традиций, и эмоциональный отклик на чужеродные воздействия, и предчувствие будущего.

Произведения Н. Колоколова «прорастают» не только друг в друга, но и в тексты, которые появятся в 50—60-е годы, «перекликаясь» с поэзией Н. Рубцова, А. Вознесенского, «деревенской» прозой, творчеством В. Макарина и даже постмодернистов 80—90-х годов. К сожалению, эти интерес-

нейшие наблюдения выходят за рамки данной статьи. Сошлемся лишь на один пример.

В дневниках Е. Ф. Вихрева есть запись о том, что у Б. Пильняка слушали чтение Б. Пастернаком «первой части своего нового романа» (29/1-29, с. 122—123)⁷. В «Докторе Живаго», выросшем из написанных им в 20-х годах произведений, транскрипция существительного «флаг», не имеющего в русском языке этимологических связей, в устах знахарки звучит как [флак], ассоциируясь с флаконом, склянкой одурманивающего зелья, и одновременно с красным платом, которым пляшущая «девка-морюха заманивает молодых ребят в темный лес на погибель». Народная этимология, не искушенная опытом книжной культуры, близка к осмыслению гражданской войны столичным интеллигентом. «Капля яда» — вариант названия повести-притчи, закончившейся всхлипом склянки, разбитой доктором о булыжник («Мед и кровь»).

Библейская символика, проецируемая на революционную эпоху; поэтическое открытие подлинной национальной души по мере отдаления от столицы вглубь Урала; полярные типы характеров (Антипов—Живаго, Таня—Лара); ощущение женственности то как водяного знака, то как рябины в сахаре, то как веселых голосов в весеннем духе Юрятина, то как обреченного инстинкта домовитости и бесконечного страдания материнства, то как сиротства дичающей земли, на которой Ларина Таня превратилась в полудебильное косноязычное существо — беспризорницу Таньку Безочередеву, а мать ее исчезла без следа («ушла под землю», как чистые ключи); феномен властолюбца, воплотившийся в разных типах; культурологическая роль христианского и языческих мифов, право личности на частную жизнь в истории массовых деяний; социально-философское осмысление вечных проблем (смерть и бессмертие, жизнь и искусство, ненависть и любовь, душевное здоровье и симптомы безумия, связь времен) — многое из того, что в начале 20-х годов получало художественное осмысление в произведениях Н. Колоколова и его современников, восстанавливает, возрождает Б. Пастернак в завершенном 40 лет спустя романе. Персонажи Н. Колоколова в эпическом хоровом звучании фольклорных языковых форм повествования выглядят фоном для сольных партий героев лирической прозы Б. Пастернака. «Доктор Живаго», интерпретируемый в мифологическом контексте произведений, уже опубликованных к 1929 году, обретает большую стереофоничность и стереоскопичность.

Став писателем, Н. Колоколов фактически отверг наследственный путь священнослужителя. Но о силе напряженного подсознания блудного сына говорят его тексты, где присутствует ирония над теми, кто «в юном хмеле вдохновенья старый мир сжигал дотла».

После двух войн мифотворческое слово стало личной проблемой литератора. Растворяющее души юных романтиков воздействие идеологом писатель наблюдал повсеместно. Достаточно перечитать дневники шуйского поэта, добровольцем ушедшего на фронт в 19 лет. О том, что в процессе

⁷ Дневники Е. Ф. Вихрева цитируются по рукописи, составленной М. И. Громаковским и хранящейся в литературном музее Ивановского государственного университета (подлинник находится в личном архиве А. А. Вихрева). Здесь и далее в тексте в скобках указывается дата записи и страница.

общения друзей интересовали одинаковые проблемы, свидетельствуют даже лексические совпадения обсуждаемых категорий в записях Е. Ф. Вихрева и текстах Н. Колоколова. Созвучны и названия с дневниковыми записями Е. Вихрева 1932—1934 годов: «Родники прекрасного», «Следы на земле» (19/І-32, с. 8), где есть размышления о порывах автора из «ненавистного маленького мира домика с вишневым садом» на просторы свободной жизни (19/І-32, с. 8); о красном империализме (с. 154); о женственно-плавных очертаниях холмов Палеха и мужественно-строгих горах Златоуста (6/ІІІ-32, с. 59); о чтении с одинаковым интересом газет, Евангелия и Библии, которые «нравятся своей красивой ложью, неумирающим величием легенд» (2/VIІІ-29, с. 145); о том, что жизнь, «как бы она ни была тяжела, все-таки не надсада, а радостное звучание и красочная симфония»; о мудрости жизни, которая «всегда глубже и обширнее мудрости людей» (19/І-32, с. 8).

Нравственно-этическая природа исторического раскола, угаданная Н. Колоколовым, фактически подтверждается записями Е. Вихрева «Начало весны 1920 года». Этот интереснейший материал заслуживает отдельного освещения. Здесь же ограничимся констатацией того, что и в творчестве, и в диалогах с современниками Н. Колоколова интересовали последствия психического потрясения подменами, переживаемого массовым народным сознанием.

В его прозаических текстах видно, как игра словом обернулась игрой слов-оккупантов, у которых нет этимологических связей с общеславянскими корнями. В рукописной книге «Пустослов» 1926—1928 годов и прозе Н. Колоколов показал процесс вытеснения одних языковых пластов другими, замену одних штампов новыми концептами, вторгающимися в жизнь.

Первоначальное название повести «Мед и кровь» — «Капля яда» — следует интерпретировать шире сюжетно-фабульной ситуации, с учетом всего творческого контекста. В произведении речь идет не столько о способе избавления уезда от душегуба, сколько о сильнодействующем духовном яде, который преобразует человека целиком, затрагивая всю его суть: характер, образ мыслей и саму жизнь. Содержится этот яд в человеческой риторике. О множестве опасностей, подстерегающих и златоустов, и аудиторию, писал литератор, имя которого прочитывается как предначертание: Николай — греч. «путеводитель заблудших в ненастье»; Иоанн — евр. «благодать божия»; Колоколов — серебряным звоном разгоняли демонические силы, оповещали о ненастье, созывали на собрания и защиту отечества. В повести «Мед и кровь» православные колокола вытесняются медными звуками труб красноармейцев, ассоциируясь с веками гонений на христианство язычников.

Не только детали в художественных текстах, но и подписи Колоколова говорят о его сознательном жреческом служении культу логосного Слова: Зрячий, Колокол, Н. Кол, Колокольчик, Вольный Задира, Н. Слободской. Некоторые современники называли его эпигоном традиции, сложившейся в древнейших культурах, другие клеймили за биологизм, ставя в один ряд с М. Пришвиным и Е. Замятиным [2, с. 211—212]. Возможно, сам Н. Колоколов, заявляя А. Горькому: «Мне есть что сказать. Я не кончусь даже если меня завтра не станет»⁸, рассчитывал на отклик в душе каждого читателя

⁸ Архив А. М. Горького. КГ-П. 36-12-8. 9/ІІІ-30.

любой эпохи. Он апеллировал к генетической памяти современников в неозаренную эпоху, расставляя на их пути к истинному свету опорные вехи, полные мифологемных архетипических смыслов.

Библиографический список

1. *Агапкина П. А.* Славянская мифология: Энцикл. слов. М., 1995.
2. *Замошкин Н. И.* «Личное и безличное»: (Из наблюдений над современной литературой) // Новый мир. 1929. № 6.
3. *Карасёв Л. В.* Пьесы А. Чехова // *Вопр. философии.* 1998. № 9.
4. *Колоколов Н.* Мед и кровь: Стихи. Роман. Рассказы. Письма. Иваново, 2003.
5. *Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В.* Краткий этимологический словарь русского языка. 2-е изд. М., 1971.

С. Л. Страшнов

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕДИАТЕКСТОВ

В соотнесении с произведениями традиционных культур рассматриваются способы формирования грамотного восприятия текстов СМИ и специфика их постижения. Проблема представлена как в теоретическом, так и в методическом аспектах. Намечаются, в частности, контуры специального учебного курса — одного из ключевых в системе массового медиаобразования.

The ways of formation of competent perception of mass-media texts and specificity of their comprehension are considered in correlation with products of traditional cultures. The problem is presented both in theoretical, and in methodical aspects. Particularly one of key contours of a special training course are outlined in system of mass mediaformation.

Современное общество нередко называют информационным, однако навыки самостоятельного поиска и осмысливания информации для него, наверняка, скорее задача, чем свершившаяся реальность. В нашей стране, по крайней мере, массовое медиаобразование делает всего лишь самые первые шаги, и его следует не только организовать, но и методически обеспечить. При этом нам вроде бы есть на что опереться: проблемами, сходными с вынесенной в заглавие, — рецепцией и интерпретацией художественных произведений — издавна занимаются ученые-филологи и искусствоведы, преподаватели-методисты этих профилей. Зато они и отчаяннее других бунтуют против засилья средств массовой коммуникации, самоутверждения их в качестве языковой и — шире — культурной нормы, статус каковой все заметнее утрачивают сегодня литература, театр, кино, а отчасти и образовательная сфера. И это отнюдь не та тревога, которая заслуживает пренебрежения или — хуже того — вышучивания.

С другой стороны, недальновиден и глухой отказ от источников современной информации. Не он ли побочно приводит к тому, что происходит, в частности, резкое падение (особенно у школьников) интереса к прессе как самой содержательной части журналистики? Вот почему, только охранительно прячась за безупречной и вроде бы спасительной классикой, мы можем легко потерять и последний качающийся мостик, пока еще соединяющий ее с потенциальными поклонниками. И вот почему одну из первичных задач, которая стоит перед массовым медиаобразованием, следует обозначить как подготовку многоликкой аудитории к восприятию и анализу текстов СМИ.

Участие в подобной работе опытных и убежденных гуманитариев тем более необходимо, что самым естественным фоном, на котором она может и должна развертываться, для школьников и студентов (но мнемотически, по памяти детства, юности, — и не только для них) являются уроки литературы, мировой художественной культуры, истории, родного и иностранного языка. Во-первых, здесь мы имеем множество апробированных и успешных наработок, а, во-вторых, медиатексты по своей организации кое в чем похожи на художественные произведения. Прежде всего структурно: и в тех, и в других выделяют элементы содержания (тематика, пафос), формы внешней (композиция или сюжет) и внутренней (речь, интонация). Исходные представления о них, полученные от учителей-словесников, в выработке медиаграмотности, разумеется, незаменимы.

Далее следует заметить: журналистика связана с искусством еще и генетически, что побуждает использовать или хотя бы иметь в виду известные из разных курсов и классов материалы по истории культур. Но сразу же стоит предупредить и о необходимости многосторонней дифференциации. Абстрактное соотнесение медиатекстов с художественными вряд ли окажется продуктивным. Лучший результат способен обеспечить поиск сходств и связей более специфических. Так, например, сопоставимы в некоторых отношениях языки отдельных видов СМИ и искусства поэтому, обсуждая, допустим, радио, полезно проводить параллели с музыкой, а представляя телевидение, — с театром и кино. При известных оговорках можно развернуть и другое сравнение — с литературными родами, на которое указывает В. В. Прозоров, трактующий газету как эпос (информация о прошедшем), радио как лирику, а телевидение как драму [8, с. 7—14].

Переходя к методологии и методике сопоставлений, вынужденно проведем еще одно ограничение. Очевидно, что журналистика по своей сути гораздо ближе к каноническим системам прошлого и современности (фольклору, классицизму, соцреализму, массовой культуре), нежели к свободным формам Нового времени (романтизму, реализму, модерну), а это позволяет, кстати, воспользоваться в изучении СМИ достижениями отечественного и зарубежного структурализма, а также рецептивной (социологической) эстетики.

Не будем, правда, забывать, что у журналистики есть и свои ответвления, но по-настоящему близка к искусству среди них только публицистика как разновидность наиболее эмоциональная и креативная. Остальное — вопреки складывающейся тенденции рассмотрения медиатекстов по аналогии (см., напр.: [6, с. 287—297]) — стимулирует обучение скорее по контрасту, применение не интеграции, а дифференциации. Если мы возьмем самые соприродные СМИ информационные материалы и сравним их с подпитавшими собою всю классическую эстетику романтическими творениями, то уже в

первом приближении получим длинный ряд наглядных антиномий. Так, объективности будет противостоять субъективность; конкретному — обобщенное; факту — вымысел, прикованности к настоящему времени — приобщение к вечному; целеполаганию — импровизация; стандартам — поиск и самоотрицание.

Можно выделить и множество иных сопутствующих оппозиций: таковы динамика и сосредоточенность; ежедневное обновление и долговременное воздействие; взгляд в упор и постижение на расстоянии; известная поверхностность и принципиальная углубленность; подход экстенсивный (горизонтальный) и интенсивный (вертикальный); содержание социальное и экзистенциальное; обращение к адресату массовому, зримому и к индивидууму, провиденциальному собеседнику; установка на мгновенное схватывание сути и на ассоциативное сотворчество; прямоговорение, определенность и метафоризм, многозначность; использование словесного (изобразительного) ряда в качестве инструмента и самоотдача, растворение в материале художника...

У искусства и журналистики единый объект воссоздания и постижения — это реальность. Однако СМИ она интересует в несколько ограниченных рамках, а именно в сугубо актуальном виде. Предметом журналистики является не бытие, а сегодняшнее событие; не универсальный человек, а современник. И даже прошлое обязательно привязывается здесь к текущей повседневности (всевозможные календарные поводы).

Содержательные различия во многом определяются противоположностью авторских амбиций. В талантливом художественном творении личность маркирует собой каждый отдельный фрагмент, тогда как сообщения агентств, сетевые ленты новостей анонимны не только номинально, но и стилистически. Под напором неповторимой индивидуальности в искусстве факт перевоплощается в образ с его обязательными субъективностью, выразительностью, условностью. Создается другая, виртуальная, реальность, объясняющая первичную обобщенно, многозначно и косвенно — окольным путем.

В новостной журналистике, напротив, исходным (в том числе по отношению к аналитике и публицистике) результатом становится информационный аналог факта. Соответственно, его качество измеряется степенью приближения к натуре. По этой причине оригинальность подачи чаще всего отвлекает аудиторию, а если какую-то ее часть все-таки может увлечь, то лишь ту, которая сориентирована неисправимо художественно. Медиановость, разумеется, тоже не буквальна, как любой перевод, но она принципиально — в отличие от художественного образа — нацелена на объективность. Идеал, разумеется, недостижим, и все же наличествует в качестве направления, устремления к истине.

Многие полагают, что специфика журналистских сообщений сводится к их содержанию, а художественных произведений — к форме. И на то вроде бы есть свои резоны: в СМИ нас в первую очередь действительно интересует, **что** происходит. Но подобно тому, как в искусстве особенности выразительности определяются всем комплексом взаимодействий автора с действительностью, медиановость тоже требует «стиля, отвечающего теме». Неадекватный способ представления непременно затеняет и сам предмет.

Содержательно-формальное единство тех и других текстов в разной степени, но достаточно зримо связано с интересами аудитории. Однако задачи искусства и журналистики можно уяснить и гораздо глубже — аксиологи-

чески, как смысл их существования. Тогда и открывается, что даже общие задачи (например, просветительские или развлекательные) решаются представителями двух сфер деятельности по-своему, в зависимости от институциональных целей — функций эстетической и массово-информационной. Читатель «Тихого Дона» познает мир не отвлеченно — в процессе последовательного и целостного сопереживания героям — напротив, воспринимает их дискретно, и разрядку он может получить только локальную, узнав среди прочего о случившемся где-то курьезе.

Отсюда понятно, почему центральными оказываются: в искусстве — «художественность», а в журналистике — «массовая информация». Эти понятия одновременно сущностные, отделяющие образное творчество, с одной стороны, информационную работу — с другой, от смежных явлений, и качественные, обозначающие не просто принадлежность к роду деятельности, но еще и степень совершенства. Ценность в каждом случае и измеряется тем, в какой мере художник и журналист выявляют возможности собственных занятий.

Особенность искусства заключена в многозначной образности, имеющей субъектно-объектную основу, которая проявляется в форме конкретно-эмоционально представляемых обобщений. И, стало быть, художественность любого произведения зависит от того, насколько реализуются в нем (с естественными поправками на вид и жанр) эти, сопряженные творчеству, начала.

В сфере СМИ — логика сходная, но признаки основного продукта, а также критерии его оценки, мерки медиакритики — принципиально иные. Аудиторию интересует прежде всего, действительно ли информация точна, актуальна, неизвестна и вместе с тем доступна (то есть массова) для понимания. Естественно, что анализ лучше корреспондента выполнит ученый, пропагандистский монолог произнесет политик, познавательный материал сообщит учитель (правда, почти всякий раз обращаясь к меньшему числу людей), зато оперативный поиск и компактное сообщение новостей остается прерогативой журналиста.

Очевидная нормативность журналистики сближает ее с каноническими художественными системами. Мы уже обращали на это внимание, но затем сосредоточились на обратном — на возможностях рассмотрения по контрасту (с романтическим творчеством). Теперь коротко скажем о ресурсе аналогий. Стандарты информационной журналистики (особенно в американской практике) столь же жестки, как и, допустим, требования классицистской эстетики, поэтому ценность сообщений, как правило, измеряется уровнем соответствия канону (жанровому, композиционному, стилевому), а не отклонением от него.

Кроме того, свобода для журналистов в большей степени, чем для творцов, ограничивается извне — социумом и участием работников СМИ в плановом и коллективном производственном процессе. Это представители профессии, обученные определенному ремеслу: «Журналисты — компетентные специалисты по сбору новостей, — они умеют отыскивать, оценивать, обрабатывать информацию. СМИ приглашают на работу “специалистов в области коммуникаций”, не любителей» [4, с. 337]. Опыт, устойчивый навык, мешающий подчас художнику в его развитии, для журналиста, напротив, скорее спасителен. Обладая изначально присущей творчеству новизной, газетные или телевизионные новости не должны виртуализироваться, созидаться.

Сравним между собой два отрывка — начальные абзацы из художественной (чеховской) прозы и газетного материала:

«Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна» [15, с. 55].

«У Администрации Президента России свой взгляд на экономические идеи правительства. И часто он не совпадает с мнением министров. Сегодня на страницах “Известий” свои ответы на самые острые экономические вопросы дает глава Экспертного управления президента Аркадий Дворкович. В интервью обозревателю *Елене Шишкуновой* он рассказал о том, каким будет новый налог на недвижимость, нужна ли нам новая пенсионная реформа, почему рождаемость в нашей стране начала расти, а смертность падать, сколько должно стоить жилье и кому достанутся средства Фонда будущих поколений» (Известия. 2007. 21 марта. № 48. С. 1).

Сначала обратим свое внимание на то, что Чехов дает по преимуществу эмоциональное предварение неведомой будущей фабулы. К тому же и настроение здесь двойся: оно и пасмурное, и ясное, даже возвышенно-величественное, а это еще больше интригует, усложняя загадку. И разгадать ее невозможно, не восприняв текст рассказа «Крыжовник» в целом.

В «известинском» «врезе» — собственная интрига. Помня о неизбежной избирательности «читателя газет», редакция позаботилась о том, чтобы завоевать его сразу же, то есть вынесла в «шапку» статус собеседника («Глава Экспертного управления президента Аркадий Дворкович»), а в заголовок — наиболее впечатляющую цитату («*СЕМЬЯ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩАЯ В КВАРТИРЕ 60 КВ. М, НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ ВООБЩЕ*»). На первой полосе представлены лишь начальные вопрос и ответ — остальная (и основная) часть интервью размещается на седьмой странице, куда и следует отсылка, и оно весьма объемное, занимающее до трети полосы формата А-2. Однако той информации, которая дана в лидер-абзаце, уже достаточно, чтобы решить для себя, стоит или не стоит читать материал дальше: там содержатся и сквозной установочный тезис, и конспект будущей публикации.

Таким образом, наблюдения, даже самые предварительные, позволяют сделать вывод о коренных отличиях профессиональных медиатекстов от художественных шедевров. И беглый взгляд убеждает, насколько первый тяготеет к определенности, доступности и проблемам актуальным, а второй — к обобщенности, ассоциативности и проблемам вечным.

Следует отметить, что существующие интерпретационные методики текстов базируются главным образом на основе постижения многозначных и оригинальных художественных шедевров с их глубинным и объемным духовным потенциалом. Напротив, одна из наиболее явных журналистских задач — дать человеку четкие и верные, определенные (а потому во многом

стандартизированные) ориентиры в окружающем мире и текущем дне для последующего адекватного реагирования. Все это заставляет пересматривать — в отношении к журналистике — традиционные рецептивные установки и аналитические подходы, обозначать особые пути постижения материалов СМИ.

В мире дальнем и в мире ближнем ежечасно происходит нечто достойное нашего внимания, влияющее на наши представления. Мы берем в руки газету, телепрограмму либо пульт, «мышку» — и что делаем дальше? По преимуществу ищем. Ищем оперативную и пока еще неизвестную нам информацию. Но как? И все ли из необходимого при этом учитываем? Да, мы руководствуемся прежде всего собственными установками, поскольку далеко не каждое сообщение оказывается для нас интересным. Однако не менее существенны особенности не только спроса — еще и предложения, а именно самого медийного продукта. А он (если убрать в скобки специализированную прессу), в отличие от монолитных и самодостаточных, то есть способных существовать и вне контекста, художественных шедевров — дискретен (подробней см.: [10, с. 273—274]), мозаичен, фрагментарен и разнопланов. Кроме того, он еще и слишком объемен: даже районную газету мало кто читает от корки до корки — что же говорить тогда о 142-полосном «Нью-Йорк Таймс»?

Отсюда наша неизбежная избирательность: предпочтение восприятию пристальному, чтению медленному¹, культура которого повсеместно падает, чтения беглого, даже визуализированного (газеты чаще всего предпочитают просматривать, журналы пролистывать); постижению целостному, без которого нельзя устанавливать все возможные связи содержания и формы художественных произведений, — подходов доминантных. Ведь если оказавшись на вернисаже или пробегая глазами поэтический сборник, в какие-то картины-стихотворения мы обязательно погружаемся с головой, то в обращении к журналистике сосредоточенность мало того что не в моде — на нее здесь не очень-то и рассчитывают, по несколько раз поэтому повторяя какую-либо новость. Это и придает актуальным сообщениям характер несистематичности [2, с. 106], возникающей несмотря на неуклонную регулярность выпусков.

Парадоксы журналистики, всегда неожиданной и всегда предсказуемой, можно перечислять и дальше: это резервуар информации сугубо прикладной, берущий содержание извне, но и всеобъемлющий, делающий СМИ особенно влиятельной силой; это источник представлений заведомо поверхностных, но и универсальных; сиюминутных, но и постоянных, существенно превышающих по своей плотности все иные наши контакты. Горькую шутку из «Василия Теркина»: «Кроме радио, ребята, / Близких родственников нет» [13, с. 309] — впору повторять на современный лад.

Гигантский мир средств массовой информации сложен и разноречив, и мы, разумеется, терялись бы в нем всякий раз, не будь у медиатекстов такого свойства, как стереотипность. Конечно, в результате неизбежно возникает

¹ А в идеале и перечитыванию (повторному просмотру, прослушиванию), на чем абсолютно справедливо по отношению к художественным шедеврам настаивал известный эстетик В. Ф. Асмус: «Не рискуя впасть в парадоксальность, скажем, что, строго говоря, подлинно первым прослушиванием симфонии может быть только вторичное их прослушивание. Именно вторичное прочтение может быть таким прочтением, в ходе которого восприятие каждого отдельного кадра уверенно относится читателем и слушателем к целому» [1, с. 66].

усредненное потребление достаточно конкретного товара, чему способствует и «наш сегодняшний культурный редукционизм — такое состояние культуры, когда говорящий охотно жертвует нюансами смысла и даже самой возможностью понимания сложных явлений жизни во всем их объеме и многообразии. Дальняя прагматика вообще оказывается под вопросом. Коммуникативной ценностью признается скорость реакции и уход от сложных раздумий» [16, с. 183].

Однако та же стереотипность восприятия еще и смягчает содержание новостей, которое подчас может ошеломить. Упрощенная, но и устойчивая форма (или иначе — коммуникативная норма) обеспечивает доступность и позволяет нам, по крайней мере, психологически приспособиться к непривычной информации, дабы не отталкивать, а впускать ее в себя.

Факты, которые привлекают нас в СМИ, естественно, выступают здесь в знаковой интерпретации. «Реальное событие, в которое «погружается» субъект-журналист, становится *медиа-событием*. Результатом воплощения его в языковую форму для трансляции в СМИ, корректировки готового материала в соответствии с собственными творческими установками, программой издания/редакции, актуальными в данный период нормами, техническими возможностями передающего канала становится *медиа-текст*» [11, с. 25]. И в тех преобладающих случаях, когда какие-либо события располагаются за пределами наших личных наблюдений, именно медиатексты становятся самыми реальными объектами нашего восприятия в процессе познания современности.

С чего же начинается наше с ними знакомство? Как и при получении любой информации (даже художественной) с внешних опознавательных знаков. Для СМИ это форматы, особенностей верстки и дизайна, рубрик, тем номера, жанровых обозначений, заголовков и т. п. Конечно, иногда перед нами, действительно, визитные карточки изданий и программ, иногда — только их упаковки. Подчас лукавые, но чаще адекватно представляющие лицо или товар. Обманывать при нынешнем ассортименте — себе дороже! Мы привыкли ценить время, а поисковая система, налаженная навигация, позволяет его экономить — внятная реклама всегда способствует правильному выбору. Но, с другой стороны, ценен и навык принятия мгновенных решений. А он невозможен без некоторого комплекса знаний — в данном случае о внешней форме и параметрах отдельных типов и ведущих видов СМИ.

По-своему избирательно в освещении современности почти любое конкретное СМИ, в том числе и самое универсальное. Широта — чаще всего синоним неопределенности, которая в журналистике оборачивается размытостью концепции, выпадением из информационной ниши, утратой контактов с какой бы то ни было частью аудитории, которая действительно разнообразна по множеству признаков, наслаивающихся друг на друга, или, наоборот, непересекающихся, сочетающихся весьма причудливо. Ориентируясь на них, выделяя один либо стараясь соединить несколько, издания и программы определяют свой тип, направление, стиль.

Основными дифференцирующими свойствами отдельных СМИ можно назвать их целевое назначение, тематику, установку на существующие социальные институты и на аудиторию (по ареалу распространения, признакам образовательному, профессиональному, половозрастному) и т. д. Помимо универсальных (семейных) выделяются СМИ рекламные, просветительские,

развлекательные; сайты и рубрики общественно-политические, деловые, спортивные; радиостанции глобальные и локальные; телеканалы качественные, массовые и специализированные; газеты официальные, партийные, частные; журналы для женщин и мужчин, для детей, подростков, молодежи, пенсионеров и т. д. О своей направленности каждое из средств массовой информации сигнализирует читателям, зрителям, слушателям, которые, разумеется, совершают свой выбор.

Любой коммуникативный процесс предполагает внятно создаваемый и адекватно воспринимаемый его участниками обмен знаками. Они должны не только потенциально декодироваться читателем, зрителем, слушателем (минимальное условие — владение национальным языком), но и быть ему нужными. Устанавливая контакт, автор обозначает для аудитории свои предложения, а конкретный человек как-то реагирует на них, принимая или не принимая журналистское произведение.

В рецептивной эстетике различают модель и потенциал восприятия. В искусстве первая — это лишь промежуточная, хотя по-своему и рационально-необходимая ступень для восхождения ко второму. Основным условием восприятия, которое искусствовед должен не только учитывать, но и развивать, является постижение произведений в их образной специфике, целостности и многочисленных контекстах. При рецепции медиатекстов сходно, пожалуй, только последнее, остальное — скорее противоположно: неисчерпаемость художественных миров уступает здесь место недвусмысленному фактологическому изложению, поэтому и модели восприятия в области СМИ выступают более разнообразно, самодостаточно и акцентированно, чем в искусстве высоком (промоушн массовой культуры как раз аналогичен). Таковы условия работы с потребителем: он хочет сориентироваться быстро и точно — и чаще всего такая возможность ему предоставляется. Например, подсказкой для искателя деловой информации может стать наличие или отсутствие в материале цифр и графиков. Выходит, что начальный этап восприятия медиатекстов во многих случаях оказывается и заключительным: внешние приметы побуждают не только к продолжениям, но и к отказам.

Из прочих наглядных параметров особо следует выделить жанр. Обладая свойствами целого — сигнала самого объемного, он наиболее полно проявляет соответствие/несоответствие текста нашим ожиданиям и интересам. Вот почему современному человеку необходимо иметь хотя бы первичные представления об отчете и очерке, заметке и статье, интервью и репортаже. Это гораздо важнее, чем теоретико-литературная выучка для поклонника шедевров: авторские обозначения, что «Евгений Онегин» — это роман, а «Вишневый сад» — комедия, при восприятии таких текстов — сигналы лишь исходные, а подчас и обманчивые, тогда как журналистский жанровый бренд нередко бывает намеренно исчерпывающим. Информационное сообщение, создаваемое в виде перевернутой пирамиды, — канон (или шаблон), шлифованный десятилетиями, незыблем в агентствах и прессе, потому что неизменность его удобна и оправдана целевыми установками подобных материалов.

В любом журналистском тексте, как уже говорилось, можно выделить уровни содержания, внутренней организации и внешней формы. Они образуют единство и во многом определяются жанром, поскольку в нем — один из центров журналистики, к которому стягиваются все частности и детали.

Причем жанр творится не только в момент оформления материала, но уже и в период его подготовки, поиска сведений. В эвристическом процессе постепенно складывается концепция осмысливаемой ситуации, а также собственно жанровая установка. Последняя представляет собой тип связи автора с миром (в том числе с аудиторией), модель будущего диалога, в котором автор, принимающий на себя строго очерченную роль (например, бесстрастного информатора, стороннего наблюдателя или увлеченного рассказчика), ориентируется на гипотетический адресат.

Ведущие факторы жанрообразования (предмет, цели и методы отображения; см.: [14, с. 43—49]) реализуются затем в структуре текста. Его содержательную основу составляет постижение проблемной ситуации или тема, в которой присутствуют и конкретная реальная ситуация, и ее скрытое масштабное значение. Другой компонент содержания — журналистская идея, пафос (в информационных материалах он, впрочем, ненавязчив и сдержан). Тема (либо идея) и выносятся чаще всего в анонсы и заголовки, сигнализируя о сути сообщения.

Сердцевиной жанра становится уровень внутренней формы: сюжетные или композиционные принципы организации текста наиболее полно выявляют авторскую установку. Причем следует сразу же подчеркнуть, что популярнее остальных — монтажное конструирование, тогда как зримый конфликт и его последующее развертывание в информационных материалах встречаются сравнительно нечасто (по преимуществу в репортажах). Основным композиционным стереотипом новостной журналистики считается аналог перевернутой пирамиды.

Непосредственное же, внешнее воплощение содержания происходит в стилистике и интонационном строе. При этом заметно, что информативное слово тяготеет к понятийной определенности (метафоры опасны, поскольку таят в себе двусмысленность), связности, лаконизму и стандартности. У М. М. Бахтина есть знаменитая максима, согласно которой «жанр всегда и тот, и не тот, всегда стар и нов одновременно» [3, с. 178], однако совершенно очевидно, что такое определение ограничено сферой искусства — вторичные речевые жанры журналистики выглядят гораздо консервативней и статичней. Это достаточно устойчивые способы освоения реалий современности.

В ходе восприятия текст, соединяясь с житейским и гражданским опытом адресата, способен размыкаться, включаться в поток его ассоциаций и размышлений, в его социальную практику. Обобщенное значение события всегда шире его номинального смысла, но не стоит, вероятно, называть это подтекстом — скорее уж возможными контекстами. Так, описание конкретной техногенной катастрофы может привести реципиента к умозаключению о плате человечества за блага цивилизации и т. п., а может и не привести, то есть многое зависит от широты кругозора, богатства именно контекстов восприятия (обычно различают три их формы — фактологические, культурно-исторические и этико-идеологические прецеденты).

Ценятся новости главным образом за точность, которую людям весьма непросто бывает проверить и которой еще труднее доверять, поскольку аудитория постоянно сталкивается с многочисленными примерами и приемами искажения или имитации фактов. Убеждать автор может, прежде всего атрибутируя свои сообщения ссылками на открытые источники информации (причем лучше, если на несколько сразу), на реально существующие доку-

менты; апелляцией к цифрам и авторитетным исследованиям и т. п. (подробней см.: [17, с. 27—32]). Журналисту важно не только честно использовать подобные методы в своей подготовительной работе, но и делать их заметными, значимыми для читателя, зрителя, слушателя в самом тексте.

Впрочем, даже в журналистике информационной объективность имеет естественные пределы. Сообщения справочного характера, взятые с интернет-лент, первых газетных полос, из радио- и телеанонсов, составляют мизерную толику медиапродукции — обычно новости либо сопровождаются анализом, либо его порождают. *«Сознательный или невольный, открытый или завуалированный, комментарий — неотъемлемая часть профессии»* [9, с. 237]. У своей устойчивой аудитории редакторы вырабатывают привычку, чего и где следует ожидать, хотя в линейных СМИ (особенно на телевидении) они иногда намеренно вносят путаницу — приберегают, в частности, заявленные сенсации до конца, чтобы аудитория досмотрела весь выпуск.

Высказывание мнений заметно расширяет потенциал композиционных и выразительных средств журналиста и требует вносить корректировку в восприятие медиатекстов, учитывать помимо номинативных еще и экспрессивные их особенности. Соответственно, план рассмотрения новостных материалов предполагает прежде всего выбор (с опорой на броские сигналы) того, что нас в данный момент более всего интересует, — скажем, сообщений или комментариев. Затем устанавливается жанр, в границах которого в разных пропорциях сосуществуют информационные и аналитические начала, что выявляется, в свою очередь, через постижение темы и идеи, принципов построения, а также речевого и жестового (в телепередачах) оформления. Отдельный текст при этом погружается в контексты, испытывается на надежность, сверяется с собственными представлениями адресата.

Формат издания (программы) и жанр — равно и опираются, и нацеливаются на концепцию адресата, с которой корреспондирует роль, разыгрываемая в данном тексте автором, но оправдывать потребительские ожидания призваны также все остальные компоненты структуры любого материала: тематика, пафос, композиция, внешняя форма (интонационная, жестово-мимическая, словесная). Удивлять средствами массовой информации положено только в принятых рамках: похвально, если интервьюер будет не просто сопровождать чужой монолог (разрезая его, как официант, на маленькие порции — для удобства усвоения), но придаст беседе остроту и динамичность; зато вряд ли нас устроит репортер, увлеченный не рассказом о перипетиях событий, а пылким самовыражением.

Безусловно, учитывая авторскую роль в СМИ, не стоит ее (опять-таки по сравнению с искусством) и преувеличивать. Внимание реципиента, которому необходимы факты, переключается на объект высказывания и концентрируется именно на нем. Кто? Что? Где? Когда? — вот вопросы, которые такого человека занимают и на которые он хотел бы получить ответы, честные и определенные. Собственного содержания у информационной журналистики нет — она лишь посредничает в деле воссоздания многоаспектной (политической, экономической, культурной, спортивной и т. д.) панорамы мировых и местных событий. И подобная асубъективность тоже, кстати сказать, способствует стандартизации медиатекста.

Такова, разумеется, лишь основная часть самых очевидных его особенностей, которые необходимо представлять уже на самых первых занятиях,

осуществляющих медиаподготовку. Одним из исходных для нее становится курс «Основы восприятия и анализа информационных текстов», включающий в себя решение ряда взаимосвязанных между собой теоретико-прагматических проблем: 1) что предлагают людям СМИ и зачем они нужны лично мне; 2) какие виды и типы СМИ существуют и как их распознавать; 3) в чем заключается специфика содержания и формы различных публикаций и программ.

На первый вопрос в самом общем виде можно ответить так: оперативную информацию. Однако совершенно справедливый тезис будут непременно сопровождать сомнения: а как же мнения, развлечения? Да, и это тоже, причем нередко в симбиозе: существует ведь и инфотеинмент [то есть развлекательная информация: термин возник от сочетания частей слов «information» (информация) «entertainment» (развлечение)], и версии, и дискуссии. В конце концов, исходная и классическая формула авторитетнейшего Би-би-си выглядит именно так: «Информировать, просвещать, развлекать». И все-таки, чтобы в голове не возник хаос, даже логически и методически разумнее первоначально сосредоточиться на самом эксклюзивном и существенном. А таковой как раз и окажется информационная функция СМИ. Далее следует — в том же ключе — сказать о неоспоримых и беспрецедентных возможностях журналистики газетной и журнальной, радио- и телевизионной, сетевой, связанных — среди прочего — и с их особыми хронотопами. Затем наступает черед знакомства с типологией внутренней, определяемой по преимуществу аудиторным фактором. А в заключение ведется подготовка к рассмотрению структуры отдельного текста — через характеристику наиболее безусловных журналистских жанров как устойчивых содержательных форм.

Вступительную лекционную часть курса на этом вполне допустимо завершить, а в следующей, во многом практической, части эффективнее может оказаться последовательность обратная. Разбираться здесь, разумеется, будут конкретные публикации и программы, разговор начнется с постижения их предмета и его подачи, их построения и речевого или невербального, паралингвистического — жестово-мимического — выражения. Но в анализ жанра непременно (хотя, видимо, не мгновенно) вплетутся суждения и о концепции адресата, и о формате отдельного средства массовой информации, и о функциях медиавыступлений.

Журналистским текстам посвящено немало книг и статей. Однако большинство из них нацеливают на технологию создания подобных произведений, что, разумеется, очень важно, но не может стать первоочередной задачей медиаобразования массового. Вначале необходимо обучить навыкам ориентирования в потоке информации и анализа отдельных публикаций. А поскольку преподаватель, в отличие от журналиста, общается не с вероятными, виртуальными, а с совершенно реальными читателями-слушателями-зрителями, обладающими особой возрастной психологией восприятия, известным культурным уровнем и т. п., то он вполне может оттолкнуться от уже имеющихся у них впечатлений и интерпретаций.

Так, постижению всего курса или, по крайней мере, его практической части могут предшествовать, например, и тестирование, и анонимное, проводимое с надеждой на искренность респондентов, анкетирование. И то и другое обозначает наличный уровень восприятия и дает материал для после-

дующих дискуссий, которые вспыхивают среди семинаристов, и для преподавательских консультаций, их планирования и конкретизации. Общая цель всего обучения — повышение медиакультуры, распространение медиаграмотности. Для многих (для детей, но еще очевиднее и опаснее — для их родителей) газета интересна сегодня прежде всего как собрание сплетен и жареных фактов, гороскопов, кроссвордов и анекдотов, поэтому и необходимы корректировки — формирование потребностей и привычки обращаться не только к развлекательным или рекламным, но и к качественным, просветительским, специализированным СМИ, без чего человеку трудно состояться в будущем в качестве мыслящей и разносторонне подготовленной личности.

К тому же само по себе чтение (в противовес впечатлениям аудиовизуальным) можно сделать более престижным, в особенности чтение периодики, в которой отсутствуют «желтые» оттенки. Такая пресса развивает способности читателя сопоставлять и размышлять, а, значит, повышает интеллектуальный уровень, неординарность индивида. Причем, привлекая к серьезным газетам и журналам молодежь, стоит опираться на ее увлечение компьютерами, поскольку большинство уважаемых изданий имеют интернет-версии, часто расширенные.

В современном обществе, где аудиторные группы многообразны, где они одновременно и дробятся, и друг на друга накладываются, программы и в особенности издания не могут не позиционироваться: они окликают своих, заывают неопределившихся, посылая им внятные сигналы. Естественно, что наш собственный выбор, определяемый, как правило, личными интересами, требует поправки и на условия восприятия: телевизор в автомобиле и Интернет на пляже — пока, согласитесь, — экзотичны, и, соответственно, в первом случае мы вынужденно слушаем радио, а во втором — предпочитаем просматривать журналы. Однако, не будучи стесняемы обстоятельствами внешними, человек попадает в положение еще более сложное: где искать и как найти в гигантском медиасупермаркете то, что необходимо именно ему и именно сейчас?

Поколения старшее и отчасти среднее, у которых сложилось определенное информационное меню, действуют нередко согласно своим привычкам, из года в год выписывая одну и ту же газету, изо дня в день слушающая/смотря одни и те же радио- и телепередачи. Но тем значимей система опознавательных знаков для молодежи: когда на лотке разложено до сотни изданий, когда все более увесист пакет уверенно принимаемых телеканалов, полезнее отнюдь не твердое, догматическое представление о репутации конкретного СМИ (иначе упустишь новое!), а развитая реакция и поставленная ориентировка.

Как же организовывать практическую работу с медиатекстами в школах, вузах, учреждениях повышения квалификации? Методике подобного образования еще только предстоит складываться и развиваться, и она постепенно будет обогащаться. Разумеется, она должна быть особой, но понятно и то, что, определяясь, следует использовать опыт из областей сопредельных. Оба этих обстоятельства и будут положены в основу наших собственных и позамысливаемых предложений.

Первое, что напрашивается, — это перекодировка заданий, которыми насыщены пособия по практической журналистике. Если там даются в основном советы, «как **сделать**» (написать заметку или репортаж, атрибутировать

новость и т. д), то, согласитесь, достаточно легко трансформировать их в представления, «как сделано», — образцы для подражания могут преобразовываться в материал для понимания и обучения. К тому же чаще всего разбор мастерских действий того или иного журналиста производится на основе обильного цитирования — наглядно, то есть даже не выделяя звеньев аналитического процесса и отдельных приемов, авторы многих работ их демонстрируют (см., в частности: [5, с. 38—44]). Важным преимуществом данной — скажем так, профессиональной — методики является ее постоянная ориентированность на реальный контекст отраженного в СМИ события, разбор не только публикаций, но и жизненных ситуаций, их породивших.

Следующий тип методики соотносим с филологическим анализом. Собственно, именно такие подходы, как наиболее оригинальные и перспективные, полнее других были представлены выше в данной статье. Напомним, что постижение медиатекстов чаще всего производилось одновременно и по аналогии, и по контрасту с принципами интерпретации художественных произведений. Здесь же более подробно стоит сказать о возможностях упомянутых, но мало раскрытых прежде методов структурализма и рецептивной эстетики.

Структуралисты трактуют искусство как средство коммуникации. И хотя учитывается, конечно, что это структура «большой сложности» [7, с. 17] — гораздо большей, чем материалы СМИ, но параллели с нею продуктивны — особенно там, где рассматриваются наиболее стандартизированные художественные явления. Вводится понятие «инвариант», которое затем позволяет уяснять конкретные особенности того или иного произведения. Но в качестве инварианта может быть взята та же «перевернутая пирамида» — типовая композиционная структура информационных сообщений. Кроме того, полезной в медиаанализе может оказаться и идея иерархического устройства структурных уровней текста (скажем, соотношения в издании вербального и иллюстративного).

С другой стороны, то, что структуралисты называют «внетекстом» (отражаемая действительность, исторические условия существования искусства, зримые предпочтения аудитории) и то, что оставалось у них несколько в тени, требует от исследователей журналистики внимания повышенного. Впрочем, и здесь они могут обращаться за помощью к филологам — правда, особого, социологического, направления. В зоне интересов рецептивной эстетики — изучение читателя вероятного и реального (в нашем случае последнее особенно значимо, поскольку преподаватель имеет дело с конкретными потребителями продукции СМИ, их легко выявляемыми интересами и привычками), а также самой системы организации коммуникативного художественного акта. Усвоенные интерпретаторами СМИ филологические положения об образе и концепции адресата, о модели восприятия, формируемой жанрами и управляемой другими творческими сигналами, наверняка будут способствовать выстраиванию собственной методики анализа текстов — на сей раз медийных.

Но, постигая их в указанном аспекте, преподаватель представляемого курса может и миновать литературоведение, прямо обращаясь к подходам сугубо социологическим: таковы, например, контент-анализ, опрос и анкетирование аудитории, дневниковый метод (см.: [12, с. 151—193]). При этом контент-анализ позволяет уяснять прежде всего тематические приоритеты

различных СМИ, дневник ведется для фиксации собственных теле-, радио-впечатлений и их последующего осмысления, а опрос и анкетирование способствуют сопоставлению особенностей чужого медиавосприятия со своим собственным. Впрочем, напрямую используя собственно социологические методики, будем помнить и о потребности сочетать их с аксиологическими подходами.

Так или иначе, но можно быть уверенным, что с самого начала преподаватели озадачатся изучением реальных предпочтений собственных слушателей; проведением тренингов по ориентированию в изданиях (программах) и оценке новостей, по формированию навигационных навыков; проблемой акцентуации — выделением в информационном потоке самого существенного; формированием навыков анализа медиатекстов — как целостного, так и фрагментарного. А преимущественным материалом, вопреки нарастающей, особенно в молодежной среде, тенденции аудиовизуального восприятия информации, станут все-таки газеты, и не просто в силу удобства обращения с ними на занятиях, но и потому, что именно они считаются «архетипом, а также прототипом всех современных масс-медиа» [2, с. 106]. Последнее обстоятельство преподавателям следует подчеркивать специально, но должен предусматриваться и обязательный последующий переход к разъяснению — на уже имеющейся основе — специфики знакомства с продукцией других СМИ.

Развитые способности в области восприятия и понимания медиатекстов стимулируют не только общее интеллектуальное развитие людей, но также их интерактивность, причем и в формах констатации адекватного приема, и в формах обратного воздействия на средства массовой информации. Впрочем, процессы второго уровня порождают новые потребности и прежде всего необходимость выйти за поставленные пока для себя рамки новостной и отчасти аналитической журналистики к СМК, активно моделирующим сознание людей: таковы массовая пресса, развлекательное телевидение, публицистика и примыкающие к ним или их насыщающие реклама, ПР и пропаганда. Важно научиться распознавать сопряженные с этими явлениями опасности, чтобы вырабатывать затем интеллектуальные и психологические механизмы, защищающие от медиаманипуляций. Понятно, что тексты СМИ в гораздо большей, чем раньше, степени будут тогда оцениваться, осваиваться аксиологически, в связи с чем появится необходимость в познании азов медиакритики.

Библиографический список

1. *Асмус В.* Вопросы теории и истории эстетики: Сб. ст. М., 1968.
2. *Бакулев Г. П.* Массовая коммуникация. Западные теории и концепции: Учеб. пособие для студентов вузов. М., 2005.
3. *Бахтин М.* Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд. М., 1972.
4. *Дэннис Э., Мэррилл Д.* Беседы о масс-медиа. М., 1997.
5. *Засорина Т., Федосова Н.* Профессия — журналист. Ростов н/Д, 1999.
6. *Ким М. Н.* Жанры современной журналистики. СПб., 2004.
7. *Лотман Ю. М.* Структура художественного текста. М., 1970.
8. *Прозоров В. В.* Современная журналистика в свете общего литературоведения // Литературоведение и журналистика: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2000.

9. Рэндалл Д. Универсальный журналист. В. Новгород; СПб., 1999.
10. Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста: Очерки теории и практики. М., 2007.
11. Сметанина С. И. Медиа-текст в системе культуры: (Динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX века). СПб., 2002.
12. Социология журналистики: Очерки методологии и практики. М., 1998.
13. Твардовский А. Т. Василий Теркин: Книга про бойца // Собр. соч.: В 6 т. М., 1977. Т. 2.
14. Тertyчный А. А. Жанры периодической печати: Учеб. пособие. М., 2000.
15. Чехов А. П. Крыжовник // Соч.: В 18 т. М., 1977. Т. 10. (Полн. собр. соч. и писем: В 30 т.)
16. Хазагерова С., Хазагеров Г. Одичание ритуала // Знамя. 2006. № 7.
17. Шостак М. И. Журналист и его произведение: Практ. пособие. М., 1998.



МЕЖДОМЕТИЯ В ОБИХОДНОМ ДИСКУРСЕ (На материале немецкого языка)

Рассматриваются вопросы, почему наличие междометий считается одним из признаков своеобразия языка повседневного общения, почему междометия формируют вокруг себя систему эмотивных дискурсивных средств; описываются основные функции немецких междометий в обиходной речи.

The article is devoted to the question why the interjections are considered as one of the characteristics of the every day language peculiarity; it is described the basic functions of the German interjections in the speech, it is touched the question that the interjections form the system of the emotive discursive means around themselves.

Э. Сепир в начале века писал, что междометия относятся к несущественным элементам языка. Но исследования последних лет и частотность их употребления в современных языках, по мнению К. Элиха, несколько скорректировали это представление о словах данного класса [10, S. 2].

С развитием дискурсивного направления в лингвистике междометия оказались в центре внимания многих языковедов. Как несколько десятилетий назад в порыве прагматического вдохновения исследователи обратились к классу частиц, так и в наши дни у многих лингвистов с интересом к дискурсу проснулся и неподдельный интерес к междометиям. Нельзя не согласиться с мнением Е. Г. Борисовой, которая пишет: «В последние годы были достигнуты значительные успехи в такой области лексической семантики, как изучение модальных (усилительных) частиц, долгие годы бывших камнем преткновения русистов-лексикологов. На повестку дня встает вопрос об адекватном описании значений лексем такой служебной части речи, как междометия» [1, с. 119]. И действительно, эти порой такие мизерные по размеру, но такие эффективные по силе воздействия словечки заслуживают особого внимания исследователей.

В ходе развития лингвистики междометия дважды становились объектом пристального изучения. Первая волна интереса к этим словам была связана с повышенным вниманием к вопросу о происхождении языка, вторая — имеет место в наши дни, когда объектом исследования стала устная речь и когда происходит расширение сферы употребления разговорного языка. Как отмечается в учебниках по стилистике, междометия являются типичной чертой разговорной речи. В рамках данной статьи мы постараемся ответить на вопрос, чем объясняется тот факт, что повседневная речь носителей немецкого языка богата междометиями.

Для начала целесообразно точно определить состав класса междометий в немецком языке и его основные характеристики. Самым авторитетным изданием, отражающим современное состояние немецкого языка, является 10-томный толковый словарь издательства Duden. В нем в качестве междоме-

тий зафиксировано 267 словарных единиц. К междометиям здесь отнесены слова, выражающие эмоции и эмоциональные оценки, слова-команды и звукоподражания. Из этого словаря можно извлечь сведения не только о значениях междометий, но и об их употреблении и происхождении [8].

Полную же картину всего многообразия функциональной палитры междометий можно увидеть лишь при анализе спонтанной устной речи, так как именно разговорная речь с ее непосредственностью — «естественная среда обитания» междометий. В наши дни для анализа немецкой устной речи богатый материал предоставляют электронные корпуса записей устной речи, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет; кроме того, выпущены печатные издания, содержащие транскрипты реальной устной речи носителей немецкого языка. И наконец, важный источник изучения языка — общение с его носителями.

На основе анализа устных спонтанных диалогов были выявлены основные причины того, почему язык повседневного общения богат междометиями. Во-первых, в повседневном общении междометия не ограничиваются выполнением своей главной функции — выражения эмоций; им присущи разнообразные прагматические функции. Во-вторых, междометия обладают свойством втягивать в сферу своего эмоционального напряжения целые сочетания слов и даже предложения, поэтому они в повседневной речи часто являются строевыми элементами фразеологизмов. В третьих, класс междометий постоянно пополняется словами из других частей речи и целыми фразами, которые подвергаются десемантизации и используются для выражения эмоций. В то же время сами междометия могут использоваться в функциях, характерных для полнозначных слов.

Даже простое перечисление указанных моментов может дать представление о том, что междометия являются центром системы эмоционально окрашенных дискурсивных единиц. Именно эти вербальные средства, сгруппированные вокруг междометий, определяют одно из качеств повседневной речи — эмоциональность.

1. Прагматические функции первообразных междометий

Как известно, носители языка в повседневной коммуникации используют не весь потенциал языка, а лишь его часть. Так происходит и с междометиями; анализ специальной литературы и диалогов обиходного общения позволил выявить наиболее типичные средства выражения эмоций в повседневных разговорах. По данным словаря частотности А. Руофа, среди наиболее частотных частиц называются слова, которые традиционно относятся к междометиям: *ach, aha, bums, Gott, ho, Menschenskind, oh, ohje, Scheißkerl* [12, S. 512]. На основе анализа электронного корпуса DWDS, созданного на материале диалогов звучащей речи, к наиболее частотным могут быть отнесены: *äh* — 1486; *ach* — 79; *oh* — 34; *eh* — 25; *aha* — 19; *ha* — 17; *ah* — 14; *ei* — 8; *au* — 7; *tja* — 5; *uh* — 4; *pfui* — 3; *hm* — 2; *buh, buh* — 1; *oho* — 1; *igitt, igitt* — 1 [9].

Как показал проведенный анализ, наиболее употребительные междометия имеют разнообразные функции. Именно многофункциональность и делает их одним из наиболее употребительных классов слов в немецкой пове-

дневной речи. Функции эти имеют прагматический характер и могут быть описаны как основные и дополнительные.

Основная функция исходных междометий — выражение эмоций

При определении междометий первым признаком этого класса все исследователи однозначно называют выражение эмоций или эмоциональных оценок, далее следуют признаки «неизменяемость» и «синтаксическая автономность» [7, S. 604], «не обладают номинативной функцией» [4, с. 187], служат языковыми знаками лишь чувств, ощущений, эмоций [2, с. 31], их роль определяется тем, что они вводят языковую реакцию партнера или открывают высказывание говорящего [3, с. 512].

Употребление междометий говорящим. Междометие в реплике говорящего создает определенный эмоциональный настрой у собеседника для восприятия информации, сообщаемой далее, и всегда поясняется в дальнейших речевых шагах. Употребление междометия в начале реплики можно сравнить с эффектом предвосхищения события. (На одной из выставок современного искусства меня поразил экспонат, который представлял собой некое кустарно выполненное устройство, состоявшее из металлических шара и желоба, по которому этот шар постоянно с шумом скатывался. Посетители за несколько залов слышали шум; по мере приближения шум нарастал; чувство любопытства, ожидание встречи с чем-то непонятным, некоторой тревоги постепенно росло, и именно это, пока еще не получившее четких очертаний, чувство предвкушения, ожидания и создавало главный эффект от этого экспоната. Сама встреча с механизмом была только разрешением кульминации.) Такой эффект возникает нередко и при употреблении междометий, данное слово в начале реплики лишь средство создания у слушателя предвкушения, ожидания информации о том, что взволновало говорящего.

Ситуация: две студентки обсуждают вопрос о фотографиях на документы.

B: *Nee, ich hab noch gar nich angefangen, ich bin zur Zeit mit diesen Bürokratismen hier beschäftigt da mit mit Karteikarte und Aufstellung der Semester //*
A: *ja //* **B:** *das is ja vielleicht ein / <...> A: Verbrecherphotos sammeln, oh, ich hab dem Schulkollegium ein Photo von mir geschickt, das war das letzte, was ich auf-treiben konnte irgendwo das hatte ich nie gewagt irgendwo hinzugeben son ganz mißglücktes Photomatonbild aus som Automat ne? Ja, da sah ich also wie so ne Hexe aus, so unheimlich giftig guck ich da rein, naja* [6, S. 14].

Междометие *oh* настраивает собеседницу на последующее эмоциональное восприятие сообщаемой информации, кульминация этого напряжения, создаваемого междометием в начале реплики, вербализуется фразой «*da sah ich also wie so ne Hexe aus*», это пояснение к междометию.

В следующем эпизоде немецкая студентка рассказывает о своей прежней квартире. В какой-то момент она делает паузу, произносит междометие, соответствующее чувству неприятия, отвращения, — *he*, а затем наступает кульминация: она называет причину этого чувства — *Spinnen und Ameisen*.

B: *und ich finde die Wohnung sieht schön aus ja //* **A:** *und wie hast du deine Wohnung gefunden //* **B:** *Ja durch eine Anonce weil eine andere Studentin ausziehen wollte / Und bevor habe ich in einer sehr alten Wohnung in einem alten Haus in Passau gewohnt / Da gab es viele he! Spinnen und Ameisen* (аудиозаписи мои. — P. Б.).

Другой эффект употребления междометия говорящим — создание эффекта online-восприятия. В устной коммуникации передачу чужой речи часто начинают междометием *ach*, чтобы у собеседника возникло ощущение, будто высказывание возникает лишь сейчас. Это объясняется тем, что истинные междометия — слова, которые воспроизводятся говорящим как непосредственная сиюминутная реакция на какие-либо слова или действия.

Sagt er, ach, das interessiert mich sehr, bitte machen [9]; nicht schwer, aber wenn man den ganzen Tag sagt, ach, ich bin so müde, ich bin soo müde, dann dann... [9].

При введении в диалог прямой речи могут использоваться разнообразные междометия.

A: *und ich kann mich vor den Fernseher setzen, man guckt was blödes, und dann schwer zu sagen, o je das ist lustig oder so...; B:* *Richtig. Und man denkt oft. Oh, ich in Gesetzzeit, ich habe so viel gemacht, ich bin in der Bibliothek. Jetzt darf man eine Pause machen; C:* *ja... als ich eingezogen bin, sind wir nacht um 12 angekommen // Und dann hier war ein bisschen blöd // Weil da im Hausflur jemand rumlief / Der... ein blutendes Gesicht hat / Der war gerade wie in einer Prügelei gewesen / Und meine Eltern und ich dachten / So jeder für sich / Oh, ich will hier nicht sein // Ich will sofort wieder weg // Und meine Eltern dachten / Oh, wir nehmen unser Kind und gehen wir weg // Ja also aber es ist billig / Und das ist eine schöne Wohnung / Deswegen wohne ich da in Passau (аудиозаписи мои. — Р. Б.).*

Междометия-звукоподражания также превращают слушателя в «непосредственного свидетеля» описываемого события. В следующем примере междометие *wups* делает повествование динамичным, поскольку слушатель воспринимает названное действие так, словно оно происходит у него на глазах.

Ситуация: коллеги обсуждают то, что они записывают все, что нужно сделать, на листочек, чтобы не забыть.

AC: *ich mach alles mit Zetteln... was mir einfällt... auf n Zettel // AB:* *(ja) (mhm) // AC:* *des... vergeß ich sonst // AB:* *auch zuhaus // AC:* *und ich weiß dann hinterher... zwei Teile... wollste... besorgen... oder zwei fallen ein noch ein // AB:* *(ja) (ja) (ja) (ja) // AC:* *„Nicht-Vergessen“... so n Dings... in der Küche hängen // AA:* *(hm) // AC:* *das ist immer bei mir // AB:* *(das ist natürlich gut) // AC:* *voll... fällt mir was ein... wups... dran // AA:* *mhm [13, S. 58].*

Примеры, заимствованные из словарей, также могут быть иллюстрацией того, как междометия-звукоподражания «оживляют» текст.

...Das kann ich hier nicht so sagen. Ja, bums, aufgelegt. Ah, und mein Herz schon so, ich... [9] bauz, da liegt sie! [8] er schleicht mit seiner Büchse herum; wo sich einer zu nahe wagt, blaff, liegt er [8] in der Ätsch-ätsch-Position... Ätsch, ätsch, ihr seid reingefallen! Den hat es gar nicht [9].

Употребление междометий слушателем. В проанализированных разговорах междометия употребляются в качестве самостоятельной реплики без всяких комментариев чаще всего в том случае, если слушатель выражает сочувствие или удивление. В следующем примере междометие *ach* позволяет выразить сопереживание.

Ситуация: мама вместе с одеждой «выстирала» в стиральной машине удостоверение личности.

AA: *(ach) der war überhaupt aber noch teilweise erhalten (ja) ? [13, S. 57].*

Ситуация: разговор двух бывших одноклассниц (обеим по 25 лет) о кризисах в семейной жизни, описывается один из неприятных эпизодов.

В: *Ja, auf dieser Verlobungsfeier, beziehungsweise einen Tag danach hab ich wieder zwei Familien verärgert, ne. <...> Da ham wer denen erzählt, uns gings bei den nich so gut un wer müßten getzt spazieren gehen. Und dann simmer in die Kneipe gegangen, nem... Viertel nach neuen kam der erste Anruf. Meine Schwester wäre da, und wenn wer nich sofort kämen, dann würde die wieder umfahren, die wäre unheimlich sauer. Ja. Um halb zehn kamen dann zwei, die wollten uns abholen. Dann ham wer mit denen an noch en paar Bier getrunken, da wormer, so viertel / viertel vor zehn, war mer widder da, da hab ich natürlich sämtliche Schuld auf mich genommen, ne (lacht) // **В:** *da war ich s natürlich gewesen // **А:** Oweia! (lacht) [6, S. 39—40].**

В: *Ja, undann meinte se: „Ja, B, eins will ich dir ja sagen, es wird für dich jetz auch ganz schön schwierig werden, noch en Mann zu finden, der dich auch mal heiratet!“ // **А:** Och! [6, S. 43].*

В репликах слушающего междометия часто выражают удивление, рассказ собеседника воспринимается как неожиданность.

Ситуация: разговор двух хорошо знакомых студенток о текущих делах.

В: *Ja, wir warn dann hinterher noch bei der S un beim T, ne. Die hatten ja in... gemacht, den Polterabend. Da warn hundertfünfundzwanzig Mann! // **А:** Oh! // **В:** *Ach, da war ich erschlagen...* [6, S. 16].*

Междометие *oh* употребляется как реакция одной из девушек на рассказ собеседницы о вечеринке, где было большое количество мужчин. Объект удивления в данном случае понятен, поэтому в пояснении со стороны слушательницы нет нужды. Реакция-удивление является той, которую и ожидает собеседница В, ведь она сама выделила ударением и интонацией слово, обозначающее количество. Совсем иная роль в отрывке у междометия *ach*, которое употребляется в реплике говорящей для создания соответствующего эмоционального настроения, необходимого для восприятия следующего за этим подробного описания вечера.

Дополнительные прагматические функции междометий

Анализ устной речи позволил по-новому взглянуть на междометия. Одним из компонентов нового взгляда можно назвать выделение у междометий функции, связанной с участием этих слов в организации процесса общения. Ранее, когда междометия исследовались только на основе литературных произведений, их участие в организации и структурировании коммуникации не было замечено, поскольку в письменной речи такие слова не фиксировались и считалось, что они ничего не выражают.

Организация процесса общения

1). Стартовый сигнал речевого шага с эмоциональной окраской

Наиболее частотное в электронном корпусе слово *äh*; по данным словаря Дуден в 10 томах, оно может выражать эмоции (возглас отвращения) или быть заполнителем пауз (*Gesprächspartikel*). Слово *ach* согласно словарю может выражать лишь эмоции и быть только междометием. Но анализ транскриптов устной речи позволяет предположить, что у данного слова также можно выделить функцию, связанную с организацией речи, хотя это и не зафиксировано в словаре. В следующем примере *ach* является стартовым сигналом речевого шага, а не средством выражения эмоций.

S1: *Wie hatten's denn die Tiere Weihnachten? // S2:* *Ach, der Vater sagte immer ja auch, das Vieh muß auch was spüren von Weihnachten, und wenn das letzte Heu runtergeholt wurde, da kriegten die Kühe satt, die Pferde kriegten den Hafer, eine Hand voll Heu, da wurde alles satt gefüttert Heiligabend. Das hieß ja immer noch, in der Nacht um zwölf tun sich die Pferde und die Kühe unterhalten am Heiligen Abend, aber da mochte doch keiner in den Stall gehen [11].*

Междометие *ach* часто используется коммуникантом в том случае, если он хочет по своей инициативе вставить в реплику собеседника свой комментарий или задать вопрос. Междометие необходимо, чтобы организовать этот момент «сталкивания» слов участников коммуникации, дать время собеседнику на переключение своего внимания. В этом случае междометие служит не для выражения эмоциональности, а для организации процесса общения, причем некоторая эмоциональность, создаваемая междометием, сохраняется, но уходит на второй план.

Ситуация: подруги (обеим по 25 лет), бывшие одноклассницы, разговаривают об общем знакомом, который страдает чрезмерной полнотой.

A: *Ich will ja den X immer überreden, mit mir Gymnastik zu machen, aber da denkt der ja nicht dran! // B:* *Ja, das will ich auch mal wieder machen, und zwar beim Sportreferat gibts da gibts da so Bewegungsübungen, ne // A:* *Ach, em, meins du da von der Frau Z, dieses? // B:* *Nee...* [6, S. 30].

2). Средство хезитации (с эмоциональной окраской)

A: *Ich weiß nich, wie die aussieht. Z heißt die. Die macht äh Bewegungs. Unterricht und Bühnentanz da, ne // B:* *Ja. Dann muß die das sein // A:* *Un ich wollte da immer ma hin // B:* *hm // A:* *aber zu der Zeit, wo ich Zeit habe, da is dummerweise die Bühnentanzgruppe (lacht) unda möchtich nich hin! // B:* *Nee, du, das lohnt sich auch nich, da sin nämlich öh Mädchen, die machen dat jetzt schon ungefähr drei Jahre, ne [ibid.].*

Междометия, которые содержатся внутри реплики, используются как заполнители пауз и в то же время передают настрой говорящего. В данном случае *öh* свидетельствует о некотором состоянии «тяжести», неудовлетворенности существующим положением дел.

Междометия могут использоваться и в качестве сигналов завершения речевого шага. Функция «указание на завершение речевого шага» характерна для слова *gell*, которое в словаре фиксируется как междометие. Но употребление данного слова связано скорее не с эмоциональностью, а с организацией дискурса, поэтому его целесообразнее считать диалогической частицей, а не междометием.

Внесение модальности. Междометия, используемые для выражения эмоций, а также употребляемые в качестве средств организации дискурса, обычно отделяются от основного высказывания паузой и представляют собой отдельную синтагму. Но в ряде случаев слово, зафиксированное в словаре как междометие, используется не для усиления всего высказывания, а для выделения отдельного элемента. В следующем примере междометие служит для усиления положительного ответа.

AA: *hast du gut geschlafen? // AB:* *(öh ja) s ging // AA:* *mit Tablette oder ohne? // AB:* *ohne [13, S. 72].*

В другом примере *ach* выделяет слово *du* и тем самым позволяет сделать более понятными интенции говорящего, то есть используется для выражения недоверия.

AA: *(Ach) du und aufhören (ha) [13, S. 77].*

В следующем предложении междометие *ach* подчеркивает, что высказывание не просто формула вежливости, а является в данном контексте выражением утешения: **АВ:** (*ach*) *das tut nichts...* [ibid.]. В подобных примерах междометие сближается по своим функциям с модальными частицами.

Междометия употребляются в одиночку не так часто, чаще всего эти слова стоят перед какой-либо фразой и придают именно этой фразе определенную эмоциональную окраску. Междометие — это некоторый знак-сигнал, который лишь готовит к восприятию того, что произойдет потом, создает соответствующий настрой. Это касается в первую очередь междометий, употребляемых говорящим. Междометия же в качестве реплик слушателя чаще всего употребляются в составе устойчивых фраз.

2. Междометия — строевой элемент фразеологизмов

Типичные эмоции, закрепленные за междометием, сопровождаются, конкретизируются стандартными фразами, которые нередко вместе с ним становятся устойчивыми сочетаниями. Междометия немецкого языка являются элементом многих фразеологизмов. Тот факт, что междометия могут быть строевыми элементами фразеологизмов, отмечается в работе Н. Ю. Шведовой, посвященной синтаксису русской разговорной речи [5]. Из всех междометий немецкого языка наиболее продуктивным в плане участия в создании устойчивых сочетаний является слово *ach*.

*Ach so! Ach nee / Ach nein! Ach ja! Ach prima! Ach nur! Ach, du Schande!
 Ach, ich habe keine Ahnung! Ach wo! Ach was? Ach übrigens... Ach du dickes Ei!
 Ach du meine Güte! Ach du liebes Lieschen! Ach du liebes bisschen! Ach du heiliger Strohsack!
 Ach du liebe Zeit! Ach du lieber Gott! Ach du heiliger Bimbam! Ach du meine Fresse!
 Ach du Schande! (Ach du) lieber / heiliger Himmel! Ach herrje / herrjemine!
 Ach du grüne Neune! Menno! Ach menno!*

3. Междометия в функциях других частей речи

В условиях неофициального общения междометия могут использоваться во вторичных функциях, то есть в функциях, характерных для других частей речи. Так, они могут служить для обозначения предмета или процесса и при этом их употребление будет осуществляться по правилам употребления существительных. Также междометия могут обозначать действие, как глаголы, или признаки действия, как наречия. Такое употребление междометий делает речь коммуникантов более эмоциональной: *Mit großem Holterdipolter ging es weiter; Mit einem Hui war er wieder da; Dein Ach und Weh geht mir auf die Nerven.*

В словарях зафиксированы случаи употребления междометий в качестве существительных в устойчивых высказываниях, большинство этих идиом сопровождается пометой о разговорности: *Ach und Weh schreien; mit Ach und Krach; mit / unter Weh und Ach; [(ach) du] heiliger Bimbam!* Чаще всего при использовании междометия для называния действия или предмета происходит не нейтральная, а оценочная номинация, поскольку предмет не просто называется, но и характеризуется определенным образом. Так, слово *Blabla* содержит в себе негативную оценку, это не просто разговор, а пустой, ничего не значащий разговор: *die Diskussion bestand nur aus Blabla; Kümmern Sie sich doch nicht um das, was die Nachbarn sagen. Das ist immer bössartiger Klatsch* [8].

4. Транспозиция слов и фраз в междометия

Для немецкого обиходного дискурса характерно активное употребление слов, относящихся к различным частям речи, для выражения эмоций. В данном случае происходит десемантизация слов и они становятся синсемантическими единицами. В этом процессе транспозиции задействованы слова разных классов, но особенно активно для выражения эмоций используются имена существительные, например: *Gott, Mann, Mensch, Scheiße, Klasse, Mist, Donnerwetter, Scheibe, Pustekuchen* и др. В следующем примере испуг передается с помощью слова *Herrgott*.

AA: (*Herrgott*) *wo hab ich denn die...* [13, S. 77].

В проанализированных диалогах в функциях междометий встретились и слова других классов: частицы — *nein*, союзы — *aber, aber!*, наречия — *dalli, dalli!*, глаголы — *halt, geh, komm* и т. д. Эти слова, как правило, в лингвистической литературе описываются как производные междометия.

Гораздо чаще в повседневных диалогах для выражения эмоций используются целые фразы. Для описания этих устойчивых сочетаний употребляется множество терминов: коммуникативы, релятивы, коммуникативные (прагматические) фразеологизмы и др.

Was du nicht sagst! — *Что ты говоришь! Неужели!*; *Alle Achtung!* — *Ничего не скажешь! Здорово!*; *Schau mal (einer) an!* — *Скажите на милость! Скажите пожалуйста!* (ирон.)

Таким образом, в ходе анализа повседневных диалогов можно сделать вывод, что междометия являются тем классом слов, который реализует свои функции на дискурсивном уровне. При рассмотрении этого класса в системе языка становится очевидным, что междометия формируют вокруг себя систему эмотивных дискурсивных единиц, которые и определяют одно из основных свойств обиходного дискурса — эмоциональность.

Библиографический список

1. Борисова Е. Г. О метаязыке для описания эмотивного компонента значения // Эмоции в языке и речи: Сб. статей / Отв. ред. И. А. Шаронов. М., 2005.
2. Виноградов В. В. Русский язык. М.; Л., 1947.
3. Кривонос А. Т. Система классов слов как отражение структуры языкового сознания: (Философские основы теоретической грамматики). М.; Нью-Йорк, 2001.
4. Москальская О. И. Грамматика немецкого языка: Теоретический курс. М., 1956.
5. Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
6. Brons-Albert R. Gesprochenes Standarddeutsch Telefondialoge. Tübingen, 1984. (Studien zur deutschen Grammatik; Bd. 18).
7. Duden. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 7. Aufl. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 2005.
8. Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. 10 Bände auf CD-ROM. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 2000.
9. DWDS: Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jh. <http://www.dwds.de>
10. Ehlich K. Interjektionen. Tübingen, 1986.
11. Interaktion OS 126, Transkript. <http://dsavoeff.ids-mannheim.de/DSAv/Korpora/IDS-DSAv/Interaktion OS126, Transkript.mht>

12. *Ruoff A.* Häufigkeitwörterbuch gesprochener Sprache, gesondert nach Wortarten: alphabetisch, rückläufig-alphabetisch und nach Häufigkeit geordnet. 2. unveränd. Aufl. Tübingen, 1990. (Idiomatica; Bd. 8).
13. Texte gesprochener deutscher Standardsprache: [Т.] 3: Alltagsgespräche / Veröffentlicht vom Institut für deutsche Sprache Mannheim und vom Goethe-Institut München. Reihe 2. Texte. 1. Aufl. München, 1975. Bd. 3 / Hrsg. von H. Steger, U. Engel und H. Moser.

Е. А. Вансяцкая

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ С ПОМОЩЬЮ НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОММУНИКАЦИИ В РЕЧИ КОММУНИКАНТОВ-ДЕВОЧЕК

Рассматриваются невербальные компоненты коммуникации, передающие различные виды эмоций, характерные для речи девочек — героинь художественного произведения. Предпринята попытка провести сопоставительный анализ феминного невербального поведения в речи девочек разного возраста.

The article describes non-verbal communication components rendering different kinds of emotions typical for girls' speech described in a literary work. The author attempts to give a comparative analysis of feminine non-verbal behaviour in the speech of heroines of different age.

В статье предпринята попытка выявить, какие виды невербальных компонентов коммуникации (НВК) сопровождают реплики коммуникантов в речевых актах. Для подробного анализа нами были отобраны ситуации, инициатором общения в которых является девочка. Во всех рассмотренных примерах кроме коммуниканта 1 — девочки присутствует коммуникант 2. Это может быть ребенок (мальчик или девочка) или взрослый (мужчина или женщина). Таким образом, анализу были подвергнуты как монополюсные, так и дипольные коммуникативные акты. Исследование дипольных коммуникативных актов, в которых необходимо учитывать фактор адресата, было осуществлено О. Н. Тарасовой [2], материалом послужили описания коммуникативных актов речи взрослых из произведений художественной литературы.

В настоящей статье предполагается обратиться к литературе для детей, поэтому мы адресовались к художественному произведению, в котором присутствуют интересующие нас коммуникативные ситуации, — повести А. М. Мартин «Младшая сестра Карен» [5].

Примеры проанализированы в соответствии с определенной методикой: описание типа НВК, сопровождающего речевой акт; указание языкового коррелята (ЯК), с помощью которого НВК представлен в тексте; описание эмоциональной реакции (ЭР) коммуниканта 1 (говорящего). В некоторых случаях необходимо обращение к вербальной части высказывания или к прагматическому контексту для установления истинного характера ЭР.

Проследим, как ведут себя девочки разного возраста в присутствии адресата и каковы особенности феминного поведения в различных случаях. Полученные результаты позволяют выявить специфику их невербального поведения в рассмотренных типах ситуаций.

Согласно данным психологии, детство разделяется на несколько периодов: младенчество (от рождения до 1 года), раннее детство (от 1 года до 3 лет), дошкольный возраст (от 3 до 6/7 лет), младший школьный возраст (от 6/7 до 11/12 лет) [1, с. 92]. Необходимо подчеркнуть, что нами отбирались для анализа преимущественно те примеры, коммуниканты в которых достигли младшего школьного возраста, так как речь должна быть достаточно сформирована и ребенок не должен испытывать трудностей фонетического, морфологического и синтаксического характера, а также должен иметь достаточно сложившийся словарь. Дети, герои художественных произведений американской прозы, принадлежат к среднему классу, и поэтому их речь можно признать нормативной для детей их социального статуса и уровня развития.

Несомненно интересным представляется проанализировать примеры, в которых описывается невербальное поведение совсем еще маленьких детей — периода раннего детства. Наиболее распространенными можно признать проявления *кинетиического вида НВК*.

1. Рассмотрим пример.

But when I sat down next to her, she stopped rubbing her ears. She even smiled [5, p. 83].

Героиня произведения, девочка трех лет, болеет, но, когда видит сестру, улыбается. ЯК НВК в данном случае представлен глаголом положительной окраски «to smile». ЭР, испытанная коммуникантом 1, положительна, — радость от встречи.

2. Для девочки трех лет характерно также использование комплекса НВК. Это может быть либо *миремический + мимический НВК*, либо *фонационный + мимический НВК*.

“Hi, Emily!” we said.

Emily just looked at us for a few moments. Then she gave us a huge smile [5, p. 78].

Коммуникант-девочка испытывает положительную эмоцию, что описывается в тексте посредством ЯК «to look at smb» и «to give a little smile». То, что ЭР окрашены положительно, подтверждает семантика входящих в описание НВК *миремического и мимического характера*.

3. В следующем примере коммуникант-девочка прибегает к употреблению *фонационного и мимического НВК*.

“Can you say ‘bird’?”

Emily paused. Finally she said, “Tastee bird”, and smiled [5, p. 95].

ЭР коммуниканта-девочки передается по невербальному каналу. Реализация ЭР идет через комплекс НВК, который в тексте описан ЯК «to pause»

и «to smile». Ситуация общения окрашена положительно. Для ее полного декодирования необходимо привлечение прагматического контекста: ребенок трех лет проявляет радость при виде рисунка птицы.

Проанализировав имеющийся в нашем распоряжении материал, мы пришли к выводу, что для речи девочек периода раннего детства нехарактерно выражение отрицательных ЭР посредством НВК. Можно сделать предположение о том, что героиня произведения добродушна по своей природе и положительно относится к окружающим ее людям.

4. Перейдем к анализу речи детей дошкольного возраста, в которой также можно наблюдать проявление ЭР через невербальный канал. В фактическом материале преобладает по количеству класс *кинестических НВК*.

Через невербальный канал передаются как положительные, так и отрицательные ЭР.

“Seth! Seth! Look what I found in the yard!” I held the box toward him.
“What should we do?” [5, p. 41].

Коммуникативно-прагматическая ситуация окрашена положительно: описываются доброжелательные отношения между говорящим и адресатом. Девочка испытывает радость от находки птенца в траве, о котором теперь она может заботиться. Положительная ЭР передается через ЯК *жестового НВК* «to hold the box to smb».

5. В следующем примере через НВК жестового характера передается отрицательная ЭР.

I waved sadly to Kristy as Elizabeth drove down the street [5, p. 17].

Коммуникант-девочка испытывает отрицательную ЭР, печаль от расставания. ЯК рассматриваемого *жестового НВК* «to wave sadly». Наречие «sadly» является маркером испытываемой коммуникантом отрицательной ЭР.

6. Необходимо отметить, что при проявлении положительных и отрицательных ЭР нами отмечены случаи нарушения этикета, в частности принципа вежливости Дж. Лича [3].

Проиллюстрируем сказанное.

“May I have some Krispy Krunches, too, please?” I asked.

“Oh, Karen, I’m sorry”, said Elizabeth. “I didn’t know you wanted any. I gave Emily the last of the box”.

Double boo. I stuck my tongue out at Emily [5, p. 15].

Девочка дошкольного возраста проявляет отрицательную ЭР, прибегая к *НВК жестового характера*. Его ЯК представлен в ситуации посредством глагольного словосочетания «to stick your tongue out», что демонстрирует невежливое поведение и подтверждается словарной дефиницией «to move your tongue quickly out of your mouth as an insult» [4, p. 1515]. Коммуникант знает об этом и тем не менее использует данный жест по отношению к ребенку периода раннего детства. Таким образом, жестовый НВК выбран осознанно, чтобы продемонстрировать отрицательное отношение одного коммуниканта к другому и выразить с его помощью отрицательную ЭР недовольства.

7. В тексте художественного произведения наряду с жестовыми НВК встречаются *НВК мимического характера*.

“We’ve been thinking hard”, said Seth. “Our brains are aching”.

I smiled at him. “Oh, Seth!” [5, p. 97].

Испытываемая коммуникантом-девочкой ЭР передается через *мимический тип НВК*, ЯК которого выступает глагол «to smile». Данный НВК, как известно, может свидетельствовать о различных ЭР. Для того чтобы правильно понять ситуацию, необходимо привлечение прагматического контекста: родители долго думают над подарком дочери, и их раздумья вызывают у последней положительную ЭР умиления.

8. “What kind of name is Magic Tasty?”

I made a face at him. Ricky is a gigundo pain [5, p. 53].

Коммуникант-девочка использует *мимический НВК*, отраженный в тексте с помощью ЯК «to make a face». Этот НВК использован для того, чтобы передать отрицательную ЭР недовольства от глупости коммуниканта 2.

9. Достаточно распространенными в речи коммуниканта-девочки можно считать *паралингвистические НВК*, а именно *НВК фонационного характера*.

“Well”, said Mommy after a moment, “I guess you are old enough to have a pet”.

“Really?!” I cried.

“Really”, Mommy answered. “If you promise to take care of your pet yourself — except for when you’re at Daddy’s. Then Seth and I will be happy to take care of it for you”.

“Oh! Oh, goody, goody, goody! I can’t believe it!” I exclaimed. Then I remembered to add, “Thank you. I promise to care for my pet. I’ll never forget” [5, p. 33].

Коммуникант последовательно прибегает к *фонационным НВК*, ЯК которых представлены соответственно «to cry» и «to exclaim». Данные НВК передают положительную ЭР девочки — радость от возможности получения питомца. Несмотря на достаточно высокую эмоциональную напряженность речи говорящего, что подтверждается словарными дефинициями глаголов «to shout something feeling some strong emotion» [4, p. 336], «to say something suddenly and loudly, especially you are surprised or impressed» [4, p. 478], коммуникант не забывает о правилах этикета. Это находит отражение в вербальной части высказывания. Таким образом, положительная ЭР выражается через невербальный канал и подкрепляется словами — через канал вербальный.

10. В следующем примере через НВК передается отрицательная ЭР.

When I woke up the next morning, I was cranky. I was in a bad mood. I felt grumpy all over.

“I hope Emily behaves herself today”, I said crossly to Moosie. Moosie is my stuffed cat” [5, p. 11].

Фонационный НВК, используемый коммуникантом-девочкой, представлен ЯК «to say crossly». Маркером направленности ЭР является наречие «crossly», которое окрашено негативно, что подтверждается словарной дефиницией «in an angry manner» [4, p. 333].

11. Анализ фактического материала показал, что в речи коммуниканта-девочки дошкольного возраста достаточное место при выражении положительных ЭР принадлежит комплексу НВК, среди которых наиболее распространенной структурой является *фонационный НВК + пантомимический/тактильный НВК*.

“We were wondering if you would like to get another pet — a real pet — since Magic Tastee is not what you had in mind”.

“Really?” I cried. I jumped up from my desk. “I can really get another pet? Oh, thank you, thank you, thank you!”

I threw my arms around Mommy. Then I gave Seth a big hug, too [5, p. 98].

Здесь присутствуют несколько видов НВК. Их ЯК представлены глаголами и глагольными сочетаниями: «to cry», «to jump up», «to throw the arms around smb» и «to give a hug». Все они окрашены положительно и дополняют складывающуюся коммуникативную ситуацию. Для ее полного понимания необходимо привлечение прагматического контекста: девочка демонстрирует различные уровни проявления радости посредством *фонационного, тактильного и пантомимического НВК*.

12. При выражении отрицательной ЭР наиболее распространенной структурой является *жестовый НВК + миремический НВК*.

I sat down at the table in a huff.

I crossed my arms and stared at Emily Michelle [5, p. 14].

Коммуникант-девочка испытывает отрицательную ЭР недовольства, которая передается через *жестовый НВК* и *НВК миремического характера*. Их ЯК «to cross the arms» и «to stare» соответственно однонаправлены и выражают отрицательную ЭР.

13. Крайне интересным случаем является ситуация, в которой происходит смена ЭР.

“Hey, everybody! Look at me!” I cried. I did a handstand, but I fell over.

“Karen”, said Daddy, “is your knapsack packed? You and Andrew need to be ready to leave when Mommy comes”.

I sat up slowly.

“It’s packed”, I said grumpily.

Then I stalked out of the living room [5, p. 29].

Девочка, стараясь привлечь внимание к себе, совершает два невербальных действия — *фонационное* и *пантомимическое*. Но взрослые не обращают на нее внимания. Из прагматического контекста известно, что это происходит по причине болезни самого младшего ребенка в семье. Поэтому ЭР меняется со знака «+» на знак «-». И коммуникант, желая продемонстрировать свою отрицательную ЭР, использует комплекс НВК: *пантомимический НВК + фонационный НВК*. Их ЯК представлены соответственно глагольными сочетаниями «to sit up slowly», «to say grumpily», «to stalk out». Все они дополняют друг друга и служат для передачи отрицательной ЭР недовольства.

Проведенный нами анализ речевых актов двух групп коммуникантов (периода раннего детства и дошкольного возраста) позволил сделать вывод о том, что наиболее распространенными видами НВК в моно- и диполовых коммуникативных актах (в которых коммуникантом 1 выступает девочка) являются паралингвистический класс НВК, а также комплекс НВК, через которые передаются как положительные, так и отрицательные ЭР.

Наиболее распространенной структурой в комплексе НВК в речи детей периода раннего детства является *миремический/фонационный + мимический НВК*. В речи девочек дошкольного возраста преобладает структура *фонационный НВК + пантомимический/тактильный НВК* (при выражении положительных ЭР) и *жестовый НВК + миремический НВК* (при выражении отрицательных ЭР).

Библиографический список

1. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. М., 1999.
2. *Тарасова О. Н.* Гендерная специфика поведения человека в аспекте взаимодействия вербальных и невербальных компонентов коммуникации: (На материале англоязычных художественных текстов): Дис. ... канд. филол. наук. Иваново, 2006.
3. *Leech G. N.* Principles of Pragmatics. L.; N. Y., 1983.
4. Macmillan English Dictionary. Bloomsbury Publishing Plc., 2006.
5. *Martin A. M.* Karen's Little Sister. Scholastic Inc., 1989.

K. M. Denisov

FACTORS OF VARIATION IN LANGUAGE ACQUISITION

Обобщаются взгляды зарубежных исследователей на источники варьирования уровня обучения языку. Первая группа факторов, влияющих на уровень языковой подготовки, включает внешнюю и внутреннюю культуру и языковое окружение. Вторую группу составляют некоторые индивидуальные характеристики студента стилистического, когнитивного, аффективного и демографического характера. Эти факторы могут оказывать взаимное влияние.

The article synthesizes views of western researchers on sources of variation in language learning. One key set of factors influencing levels of language acquisition is contextual including: large culture, small culture and foreign language environment. Other crucial components are based on individual student characteristics of stylistic, cognitive and affective, and demographic nature. Both groups may overlap and influence each other.

Contextual factors of variation in language acquisition include ethnic, national or international background (large culture) and any cohesive social grouping, however small (small culture) [10, p. 240]. It also concerns a foreign language learning environment. According to Kramsch [11, p. 6], culture refers to that which has been grown and groomed (from the Latin *colere* 'to cultivate') and includes social, historical, and imaginative aspects.

Culture plays a vital role in the formation of the individual's personality and learning processes [2; 14]. Saleh [16], using results from a university study of language learners, asserted that individualism/collectivism (I/C) and cultural tolerance of ambiguity (TOA) affect language learning, mediated by personality types. Individualistic cultures, such as the USA and Western Europe, emphasize loose social ties, autonomy, confrontation, right to privacy, and personal goals, while collectivist cultures (China and Japan) create strong cohesive in-groups with group norms, that value non-confrontation, collaboration, and strong hierarchies and rules.

Large culture and small culture frequently intersect. Students' large-cultural beliefs influence and sometimes limit language achievement in small-cultural university classrooms. Culturally influenced teacher beliefs influence learner beliefs and language learning strategy use. Unspoken or misunderstood differences

between teacher beliefs and learner beliefs in a specific classroom can cause difficulties and frustration [3]. Fortunately, culturally influenced beliefs of teachers and learners can be modified through indepth discussion and other activities, and such alterations can change behaviour in the language classroom.

Voices from the language classroom [1] reveal the importance of the classroom as a small culture. Other small cultures for language development might include informal or “street” learning and self-access centers. Learners from many countries described their language teachers in metaphoric ways, with categories of metaphors such as Teacher as Hanging Judge, Entertainer, Co-learner, Prophet, Babysitter and Absentee. Analysis according to intimacy and power themes produced three general teaching approaches (autocratic, democratic/participatory, and laissez-affaire). Narratives showed rejection of the first and third approaches and pleasure with the second.

A foreign language (FL) environment is a location where the target language (EFL — as English example) is not the main vehicle of ordinary communication and where input in this language is consequently limited. In foreign language settings, the target language is often taught academically, as a subject to be memorized for tests, rather than as a communication tool, and therefore many foreign language learners have low motivation and poor performance [8].

Among individual student characteristics stylistic factors come first. The term *styles* refers to general approaches to learning or problem solving, as part of the larger issue of coping with everyday life. Brain hemisphericity, learning styles, and personality types are in this category.

Brain hemisphericity (brain dominance) is the tendency of an individual to process information mainly through either the left hemisphere or the right hemisphere of the brain. Brain activity within and across the two hemispheres is complex, because (a) one hemisphere can sometimes take over certain functions if the other hemisphere is damaged, and (b) gender differences exist in overall brain lateralization (women are more bilateral) and in the corpus callosum, the connective hemisphere-linking brain tissue (which is thicker in women, allowing greater information transfer across hemispheres) [9].

However, some universal generalizations are possible. Both hemispheres carry out the same tasks in different styles: sequential for the left hemisphere and parallel for the right one. Left-hemispheric dominant individuals are more analytic, verbal, linear, logical, and rational learners, whereas, right-hemispheric dominant individuals are more integrative, imagistic (through the visual, tactile, kinesthetic, and auditory senses), nonlinear, intuitive, and emotional learners. Brain hemisphericity greatly influences learning styles, academic achievement, and choice of academic major and career path.

Learning styles, such as sensory preferences and field independence (FI) versus field dependence (FD), are the general approaches students use to learn any subject, including another language [7]. Learning style consists of distinctive behaviours, which serve as indicators of how a person learns from and interacts with his or her environment. Taking learning styles into consideration can increase language achievement [15, p. 45].

Sensory preferences include visual, auditory, kinesthetic, and tactile, the last two of which are sometimes clustered into the haptic or hands-on style [6, p. 12]. *Visual* students enjoy reading, video, computers, pictures, and written classroom instructions and dislike lectures that lack visual support. *Auditory* students enjoy

purely oral directions, lectures, conversations, and debates. *Hands-on* or *haptic* learners like movement, tangible objects, collages, and physical models.

The best known system of *personality types* is found in the Myers — Briggs Type Indicator, or MBTI [12, p. 25], which contains four dimensions: extroverted/introverted, sensing/intuition, thinking/feeling, and judging/perceiving. The resulting matrix categorizes individuals into sixteen types. *Extroverts* gain energy from working with others, while *introverts* gain energy from working alone or with a trusted friend. *Sensing-oriented* individuals are realistic, practical, and fact-oriented, whereas *intuitive* individuals are imaginative, futuristic, and theory oriented. *Thinking-oriented* individuals concern themselves with impersonal analysis and logic, while *feeling-oriented* individuals are more emotional and overtly compassionate. *Judging-oriented* people like structure and rapid judgments, while *perceiving-oriented* individuals are spontaneous and dislike quick decisions.

Cognitive and affective factors include motivation, self-referential judgments, anxiety, and language learning strategies. Each of these is a clear source of variation in language acquisition. Clément, Dörnyei, and Noels [4, p. 430] identified five EFL motivational orientations:

1. To make friends and travel.
2. To identify with a target language group.
3. To know various peoples, cultures, and world events.
4. To advance academically or professionally.
5. To understand English-language media.

Students strongly supported all except the second factor; they were not particularly interested in integrating into Anglophone cultures. This model contains three levels. The *language level* reflects cultural-affective, intellectual, and pragmatic values, associated with a target language and has two subsystems: integrative and instrumental. The *learner level* concerns fairly stable personality traits of the learner, such as linguistic self-confidence and need for achievement. The *learning situation level* reflects situation-specific motives and includes course-, teacher-, and group-specific components.

A model by Crookes and Schmidt [5, p. 477] contains the following: (a) interest, (b) relevance, (c) expectancy of success, (d) outcomes, (e) decision to engage in learning, (f) persistence, and (g) high activity level. Tremblay and Gardner [18, p. 516] developed a highly complex, empirically derived model of language learning motivation.

Self-referential judgments, such as self-esteem and self-efficacy, are judgments the learner makes about herself or himself. Attributions and locus of control are also important.

Self-esteem is a judgment of one's own personal worth or value. *Global self-esteem* arises when the person is around the mental age of eight and is based on two factors: (a) self-perceptions of competence in broad areas, such as academics, sports, social interaction, or physical appearance, and (b) a personal assessment of the importance of these areas. *Situational self-esteem* relates to a specific setting, event, or activity type. A foreign language student can feel generally good about himself or herself (global self-esteem) but simultaneously experience low situational self-esteem in a negative language learning environment [14, p. 24].

Self-efficacy refers to one's judgments about one's own ability to succeed on a task or long-term (longitudinal) effort. Individuals who doubt their capabilities

might slacken their efforts when facing serious difficulties, but those with strong self-efficacy make greater efforts to master challenges.

Anxiety can either be a state or a permanent trait of fear or apprehension. With *debilitating anxiety*, motivation suffers, poor performance occurs, and still greater anxiety is aroused, but *facilitating anxiety* stimulates the learner to try harder and perform better. Certain language activities, such as speaking in front of others or writing a paper, can generate anxiety about performance. Other anxiety causing variables are certain classroom structures, perceived irrelevance of the target language, and culture shock. Language anxiety can be reduced through relaxation, humour, discussion, support groups, and other means.

Learning strategies are steps or operations used by learners to learn more effectively, that is, to facilitate acquisition, storage, retrieval, and use of information. Learning strategies are linked to learning styles, personality, gender, and culture. O'Malley and Chamot [13] and Oxford [14] presented two detailed taxonomies of language learning strategies. The first taxonomy contained two major sets of strategies, cognitive (e.g., planning, organizing, evaluating), and a smaller third set, socio-affective (e.g., asking questions for clarification or verification). Oxford's taxonomy included cognitive, meta-cognitive, memory-related, social, affective, and compensatory strategies.

Relationships between strategy use and language proficiency were initially examined through the "good language learner" investigations, which resulted in general profiles of successful language learners and identified specific patterns of strategy use as success markers. In the 1990s, strategy use was linked to language proficiency in more than thirty studies around the world [13; 14], but the relationships were sometimes highly complex. Effects of learning strategy instruction on both proficiency and self-efficacy are the focus of much research [13].

Many demographic factors affect language learning. Two of these, gender and age, stand out as particularly important and are addressed here. But others that are not addressed include home language, foreign travel experience, and length of time in the country where the target language is used.

Gender makes a difference at all reference, hence females are superior in verbal skills, while males are superior in spatial skills, and these findings relate to brain functioning. In general, females are slightly more feeling oriented, while males are slightly more thinking oriented [12]. Females enjoy cooperative and social learning, while males prefer individual, independent learning. Females use language learning strategies more frequently than males [8, 14, 16].

Age is also significant. Singleton and Lengyel [17] attack the critical period hypothesis, which suggests that learning a language at an early age is sufficient or necessary to attain native-like proficiency and that there is an age beyond which learning another language is not fully possible. Although younger learners do have some advantages (fluency and distinction of pronunciation), older learners have other advantages (syntax and morphology). However, many adults and children can become proficient in the target language under the right conditions, perhaps by following different routes.

To conclude the article up it should be noted that it's necessary to know more about our diverse students: their cultures, motivations, styles, strategies, anxiety, and other factors. This information can enable educators to develop new instructional techniques, curricula, and lesson plans to accommodate these varia-

tions. Language instruction should begin with an understanding of the ways students learn, and language researches should continue to promote this understanding through well-designed studies.

Bibliography list

1. *Bailey K., Nunan D.* (eds.) *Voices from the language classroom*. N. Y.: Cambridge University press, 1996.
2. *Banks J. A.* Ethnicity, class, cognitive styles and motivational styles: Research and Teaching implications // *Journal of Negro Education*. 1991. Vol. 57.
3. *Barcelos A.* Relationships between Brazilian students' beliefs and their teachers' beliefs in an intensive ESL institute: Ph. D. diss. University of Alabama. Tuscaloosa, 2000.
4. *Clément R., Dörnyei Z., Noels K. A.* Motivation, self-confidence, and group-cohesion in the foreign language classroom // *Language Learning*. 1994. Vol. 44.
5. *Crookes G., Schmidt R. W.* Motivation: Reopening the research agenda // *Language Learning*. 1991. Vol. 41.
6. *Dreyer C.* Teacher — student styles wars in South Africa: The silent battle // *System*. 1998. Vol. 26.
7. *Ehrman M.* *Understanding second language learning difficulties*. Thousand Oaks (CA): Sage, 1996.
8. *Green J. M., Oxford R. L.* A closer look at learning strategies, L2 proficiency, and gender // *TESOL Quarterly*. 1995. Vol. 29.
9. *Green S.* *Principles of Biopsychology*. Hove (UK): Erlbaum, 1994.
10. *Holliday A.* *Small Cultures* // *Applied Linguistics*. Oxford: Oxford University Press, 1999. Vol. 20.
11. *Kramsch C.* *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
12. *Myers I. B., MacCauley M.* *Manual: A guide to the developmental and use of the Myers-Briggs Type Indicator*. Palo Alto (CA): Counseling Psychologist Press, 1985.
13. *O'Malley J., Chamot A.* *Learning Strategies in second language acquisition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
14. *Oxford R. L.* *Language Learning Strategies: Cross Cultural Perspectives*. Honolulu: University Press of Hawai'i, 1996.
15. *Reid J. M.* (ed.) *Understanding learning styles in the second language classroom*. Upper Saddle Rive (NJ): Prentice Hall, 1998.
16. *Saleh A.* The nexus of brain hemisphericity, personality types, temperaments, learning styles, learning strategies, gender, majors, and culture: Ph. D. diss. University of Alabama. Tuscaloosa, 1997.
17. *Singleton D., Legyel Z.* The age factor in second language acquisition: A critical look at the critical period hypothesis. Avon (UK): Multilingual Matters, 1995.
18. *Tremblay P. F., Gardner R. C.* Expending the motivation construct in language learning // *The Modern Language Journal*. 1995. Vol. 79.

*И. В. Кокурина***ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА *ZEIT*
В ПАРЕМИЯХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА**

На материале пословиц и поговорок описывается лингвокультурный концепт *Zeit* в немецком языке, иллюстрируется его специфика и основные метафорические образы, в которых он реализован в наивной картине мира.

The article, based on German proverbs and sayings, describes lingvocultural concept “Zeit” and illustrates its peculiarities and main metaphorical images, which present this concept in the naïve perception of the world.

Одной из ключевых идей современной лингвистики является идея антропоцентричности языка. В связи с этим особое внимание в наше время уделяется языку как продукту культуры, который не только отражает окружающий нас мир, но и интерпретирует его, создавая в сознании языковой личности особую реальность, где живет человек. Язык рассматривается как один из путей, по которому можно проникнуть в ментальность нации, в воззрения людей на природу, общество и самих себя. Различные лингвистические исследования в этом направлении проводятся на стыке областей научного знания, с чем связано также возникновение когнитивной лингвистики, социолингвистики, психолингвистики, этнолингвистики и лингвокультурологии (которую одни считают ответвлением этнолингвистики, а другие — дисциплиной, объединяющей этнолингвистику и социолингвистику) (см.: [3, с. 88; 5, с. 9—12]).

Важнейшим объектом исследования когнитивной лингвистики и лингвокультурологии является концепт, но его дефиниции варьируются в зависимости от приоритетов и постулатов направления. Однако, как отмечает С. Г. Воркачев, различия в подходах к концепту в достаточной степени условны и связаны не столько с общими задачами этих дисциплин, сколько с техникой выделения объекта исследования и методикой его описания [1, с. 43—45]. По его мнению, лингвокогнитологические исследования направлены на выявление общих (универсальных для разных наций) закономерностей в формировании ментальных представлений и ориентированы от смысла (концепта) к языку (средствам его вербализации), тогда как лингвокультурологические исследования идут от имени концепта к совокупности номинируемых им смыслов и выявляют особенности отдельной этнической концептосферы. В данной работе концепт понимается как «единица коллективного знания, имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [2, с. 48].

Итак, для лингвистики важно прежде всего, как различные категории человеческого бытия отражаются в языке, фиксируются в письменной речи и в литературных произведениях.

При этом время является одной из самых интересных, сложных и важных категорий нашего бытия, сквозь его призму воспринимается все сущее в

мире. Загадка времени издавна занимает умы философов и мыслителей. Время нельзя увидеть, его можно воспринимать с закрытыми глазами, из него нельзя выйти, вернуться назад или пройти через него вперед. Мы не можем выбирать время и должны довольствоваться нашим «сегодня» [13].

Аврелий Августин в своей «Исповеди» отмечал: «Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я хотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю» (цит. по: [4, с. 77]).

В древности люди соотносили время с самыми различными объектами действительности: с числом, кругом, мировым деревом, земноводными, огнем, водой. Например, древние вавилоняне воспринимали время в связи с потоком событий и цепью поколений. В мифах индоевропейских народов время мыслится бесконечным и изначальным. Оно приписывается только земному, срединному миру, в верхнем мире его нет, но творится оно там и оттуда отправляется на землю.

В научной литературе существуют даже попытки классифицировать народы по отношению этнического сознания к категории времени. Ю. С. Степанов отмечает множественность понятий времени в исторических исследованиях и приводит данные Международного конгресса исторических наук, состоявшегося в 1990 году в Мадриде. В разделе «Концепт времени в европейских и азиатских работах по истории» выясняется наличие следующих концептов: «пульсирующее время», «круговое» или «циклическое время», различные виды линейного времени (христианское, ньютоновское, линейное время, идущее по направлению прогресса или регресса), время как последовательность точек, «спиральное время» [8, с. 263—264].

Таким образом, в процессе постижения времени в сознании человека складывается концептуальная модель времени, представляющая собой базовую структуру образов и оценок, отображенную в языке.

Время находит выражение в единицах различных языковых уровней: морфологических — в виде глагольной категории времени, лексических — в качестве слов с временным значением, синтаксических — в виде темпоральных синтаксических конструкций. К грамматическим средствам можно отнести также некоторые предлоги. Однако данная статья посвящена лишь узкому аспекту отражения времени в языке, а именно вопросу функционирования лексемы *Zeit* в немецких пословицах и поговорках. Но прежде чем перейти к анализу собранных паремий, представляется необходимым также уделить внимание этимологии немецкого слова *Zeit*, поскольку «этимология есть предыстория, дописьменная история концепта» [8, с. 6].

Происхождение лексемы *Zeit* восходит к индоевропейскому корню *dā[i]- «teilen; zerschneiden; zerreißen» (делить, разрезать, разрывать) [10, S. 826]. Другие исследователи придерживаются точки зрения, что существительное *Zeit* произошло от глагола *ziehen* (тянуть) [4]. В любом случае можно отметить линейный образ времени в немецком языке, но данная линия разбита на различные смысловые темпоральные отрезки: эпохи, века, времена года и т. п., и каждый отрезок наполнен какими-либо событиями. Недаром некоторые исследователи характеризуют немецкую культуру по отношению ко времени как монохромную [2], где время делимо, разбивается на отрезки, которые отведены для заранее намеченных дел. В таких культурах время и дела, которые нужно осуществить за этот определенный отрезок времени, тщательно продуманы. Интересно отметить, что в русском языке аналогичная

лексема представляет иную идею мировидения: слово *время* произошло от *верема*, которое родственно словам *вертеть*, *веретено*. В русской картине мира идея времени связана с идеей повторяемости, регулярности, цикличности, с идеей «магического круга». По отношению ко времени русскую культуру рассматривают как полихромную. В таких культурах можно делать несколько дел одновременно, не разграничивая и не планируя их четко по времени.

Сегодня немецкая лексема *Zeit* истолковывается в словарях как последовательность событий, переживаний, как определенный отрезок этой последовательности, а также как период, век, эпоха. Все эти значения в полной мере представлены в исследуемых пословицах и поговорках. Но, как утверждает В. А. Плунгян, рассматривая русскую лексему *время*, часто ее произвольное употребление в тексте бывает трудно соотнести с тем или иным словарным значением. Словари, по его мнению, не виноваты, виновато время! Такая же особенность наблюдается и у немецкой лексики *Zeit*. Взамен ученый предлагает описывать время как слово-хамелеон, сущность которого определяется тем, что оно может в каждом из своих употреблений напоминать носителю языка. Из всего многообразия контекстов употребления слова *время* В. А. Плунгян выделяет пять метафорических блоков: время-контейнер («то, что заключает в себя некоторое событие — длительное или мгновенное»); время-субстанция («то, количество чего можно измерить»); время-путник («то, что движется»); время-имущество («то, чем обладают»); время-агрессор («то, что разрушает») [7, с. 161].

В немецкой народной традиции нашли отражение самые разные характеристики представления о времени. Очень часто время в пословицах и поговорках персонифицируется, выступает как творящее существо, как действующая сила, причем чаще добрая, благоприятная, способная творить чудеса: *Die Zeit tut Wunder*; *Die Zeit macht gescheit*; *Die Zeit macht auch den Narren klug*; *Die Zeit bringt reifen Roggen*; *Des Menschen Engel ist die Zeit*; *Zeit bringt Rosen*; *Zeit bringt alles*; *Die Zeit wird's bringen*; *Die Zeit wird's lehren*. Нередко время ассоциируется с образом лекаря или целительного средства: *Verschwiegen Leid heilt nur die Zeit*; *Die Zeit heilt alles / alles Leid*; *Die Zeit lindert jeden Schmerz*. Времени можно и нужно служить как хозяину и господину: *Diene der Zeit*; *Wer der Zeit dient, dient ehrlich*. Очень четкое отражение в наивной картине мира нашла идея всемогущества времени, которому подвластно все: *Die Zeit zähmet alle Dinge*; *Die Zeit verzehrt all Ding*. Порой эта сила может разоблачить и казнить преступника: *Zeit verrät und hängt den Dieb*, продемонстрировать противоречивость, пощадив одного и наказав другого: *Die Zeit verschon den Sperling, aber die Nachtigall bringt sie in den Käfig*, или даже проявлять «злые» качества: *Zeit bringt Leid*; *Zeit entblättert jede Rose*; *Zeit macht Heu*; *Zeit verzehrt Eisen und Stahl*; *Zeit frisst Eisen* (с двумя последними паремиями коррелирует также метафорический фразеологизм *der Zahn der Zeit*).

Другая основная идея, широко представленная в паремиях немецкого языка, связана со временем как отрезком, включающим в себя различные события (ср. с метафорическим блоком «время-контейнер» у В. А. Плунгяна), и каждый из этих отрезков является уникальным, привносит что-то новое. С течением времени меняются люди, их заботы, радости, нравы, традиции и обычаи: *Zeit und Zeit ist nicht gleich*; *Wie die Zeit, so ändern sich die Leut*; *Die Zeiten ändern sich und wir mit ihnen*; *Andere Zeiten, andere Sitten, Andere Zeiten*,

andere Sorgen / Lieder; Andere Zeit, andere Leut и т. п. Следует заметить, что в данном значении рассматриваемая лексема часто используется в форме множественного числа (аналогично русскому *времена*), причем гораздо большее число пословиц и поговорок посвящено плохому, тяжелому времени / тяжелым временам: *Zie Zeit wird immer schlimmer; Die Zeiten werden immer schlechter (ärger); Die Zeiten sind böse, sagte der Vater; was würd' er jetzt sagen?; Schlechte Zeiten geben schlecht Bier*. С изменчивостью связана и такая характеристика времени, как его постоянная подвижность и безвозвратность (здесь образ времени-контейнера переплетается с образом времени-путника): *Es flieht die Zeit; Die Uhr bleibt stehen, die Zeit nicht; Die Zeit steht nicht still; Verlorene Zeit kommt niemals wieder; Die Zeit verschwindet, eh man's besinnt; Die Zeit, die gut hingeht, kann nicht schlecht wiederkommen; So geht die Zeit zur Ewigkeit*. При этом в наивной картине мира ясно прослеживается идея о том, что хорошее время исчезает быстро: *Gute Zeit bricht geschwind den Hals; Gute Zeit macht keine Langeweile*, тогда как тяжелое время медлительно: *Drückende (schwere) Zeit schreitet langsam*. Время как движущаяся сила независимо, оно не обращает никакого внимания на человека, не ждет его, человек сам должен приспособливаться ко времени: *Die Zeit wartet auf niemand; Wem die Zeit nicht passt, der passe sich in die Zeit*. Но иногда эта сила может «подыграть» человеку: *Wem die Zeit aufspielt, der muss tanzen*.

В немецком языке отсутствует специальное существительное со значением 'пора', однако лексема *Zeit* может обозначать благоприятный, удобный, своевременный момент. Такой момент существует практически для каждого времени: *Alles hat seine Zeit; Alles zu seiner Zeit; Arbeiten hat seine Zeit und Feiern hat seine Zeit; Es ist eine Zeit zum Lustigsein und eine Zeit zum Trauern; Wenn's Zeit ist, soll man melken; Zeit zu schweigen, Zeit zu reden, Zeit aufzuhören; Seine Zeit hat Sang und Pradigt*. В этих и многих других аналогичных пословицах и поговорках отражены, кроме всего прочего, такие особенности немецкого национального характера, как стремление к порядку, пунктуальность, четкая организация всякого процесса, т. е. находит подтверждение мысль о монохромности немецкой культуры по отношению ко времени.

В заключение хотелось бы обратить внимание на блок поговорок, в которых время олицетворяется, ассоциируется с ценностями или имуществом. Это имущество можно потерять, израсходовать, но им необходимо дорожить, распоряжаться с умом: *Wer Zeit liebt, vergeudet die Zeit nicht; Verlorene Zeit kommt niemals mehr; Zeit vertan, Geld vertan; Zeit ist Geld, Man muss seine Zeit auskaufen* и др.

Таким образом, поговорки создают образное представление о понятии *Zeit* в немецкой культуре, позволяют «характеризовать время как лингвокультурологическую категорию» [6, с. 201].

Библиографический список

1. Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт. М., 2004.
2. Зубкова Я. В. Концепт «пунктуальность» в немецкой и русской лингвокультурах: Дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2003.
3. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М, 2004.
4. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику. М., 2004.
5. Маслова В. А. Лингвокультурология. М., 2004.

6. *Михеева Л. Н.* Время в русской языковой картине мира. Иваново, 2003.
7. *Плунгян В. А.* Время и времена: к вопросу о категории числа // Логический анализ языка: язык и время. М., 1997.
8. *Степанов Ю.С.* Константы: словарь русской культуры. М., 2001.
9. *Beyer H., Beyer A.* Sprichwörterlexikon. Leipzig, 1996.
10. Duden. Das Herkunftswörterbuch. Mannheim, 1989.
11. Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Mannheim, 1992.
12. *Graf A.E.* 6000 deutsche und russische Sprichwörter. Halle, 1960.
13. *Seibt F.* Die Begründung Europas. Ein Zwischenbericht über die letzten tausend Jahre. Bonn, 2005.
14. *Wander K. F. W.* Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Berlin, 2005.

Т. А. Таганова

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

В статье анализируются понятия «нация», «национальная идентичность», «национальный характер». В связи с изменениями в обществе, с осознанием уникальности «национального» появляется необходимость в создании словарей нового типа, направленных на осуществление целого ряда задач, в частности предотвращения коммуникативных неудач при осуществлении межкультурного общения.

The article touches upon such notions as “nation”, “national identity”, “national character”. At present the contemporary society has come to appreciate the uniqueness of “*the national*”. Due to this fact the demand for the dictionaries of a new type has been growing recently. Such dictionaries are aimed at accomplishing a number of tasks. One of the questions they are meant to answer is “How to avoid communication failures?”

О проблемах межкультурной коммуникации дипломаты, политики и лингвисты писали во все времена. Проблема соотношения языка и культуры всегда интересовала ученых. Однако только в 80-е годы XX века лексикографы стали отмечать необходимость отображения реального состояния языка и культуры в словарном издании. Обращение лексикографов к этой проблеме совсем не случайно. Долгое время лексикография была наукой, трактующей значения. В последнее время в связи с изменениями в обществе, с осознанием уникальности «национального», с признанием того, что изучение языка в первую очередь связано с необходимостью познания культуры, появляется потребность в лексикографических трудах нового поколения. Новое понимание термина «нация», появление таких концепций, как «национальная идентичность», «национальное самосознание», «национальный характер», — все это не могло не сказаться на облике современных справочных изданий.

Рассуждать о том, что такое нация, в последнее время необходимо и не просто. Это понятие, традиционно толковавшееся как общность людей, объединенных «четырьмя общностями»: языка, территории, культуры и экономики, — потеряло свою актуальность. Связано это с глобальными переменами в жизни нашего общества, с появлением новых возможностей и свобод, в первую очередь. Свобода передвижения, выбора того, в какой стране жить и работать, на каком языке общаться, новые технические возможности все больше превращают нашу планету в «глобальную деревню» (*global village*), а нас — в «граждан мира». Несмотря на то, что все большее количество граждан живут и работают в неродных для себя странах, они не перестают считать себя представителями «своих» наций. Русский, уехавший жить и работать в США, вероятно, так и будет считать себя русским, представителем русской культуры.

В определении термина «нация» язык играет важную, но не решающую роль. Так, к примеру, на английском языке говорят как в Великобритании, так и в США, Австралии и т. д. Однако представители этих наций считают себя носителями разных культур. Следовательно, нация и возникает на основании осознания единства «своей», уникальной группы людей, которая обладает одними и теми же культурными, нравственными и социальными нормами, одинаковым восприятием определенных ценностей. Отвечая на вопрос, что такое нация, вероятно, следует в первую очередь рассматривать культурную составляющую данного понятия.

Что же тогда понимается под термином «национальная идентичность»? «Размышлять о корнях идентичности — значит исследовать почву, на которой произросла та или иная языковая личность» [6, с. 149]. А значит, размышления о национальной идентичности неразрывно связаны с исследованиями «почвы», на которой развивалась та или иная нация: истории, культуры, языка; в сущности, национальная идентичность и есть признание нацией наличия этой единой почвы.

В. Цымбурский справедливо отмечает: «Идентичность — это принятие определенного исторического опыта, когда человек говорит: “наш поэт Пушкин, наш император Петр Великий, наша история, наши войны...”, а не “ваш поэт Пушкин, ваш император Петр Великий, ваша история, ваши войны...”» [8].

Национальная идентичность — осознание нацией своей «тождественности» (*identity*), преемственности, единства целей и установок. Ключевым моментом является наличие определенной системы ценностей, «нравственных императивов», присущих представителям одной нации. Национальная идентичность заключается не только в признании себя единым целым, но и в «сопоставлении и/или сравнении себя с другими нациями» [7, с. 15]. Отвечая на вопрос «Что нас объединяет?», нация в то же время отвечает на вопрос «Чем мы отличны от других?». Именно представления нации о себе (*национальное самосознание*) играют решающую роль при определении того, что есть «свое», а что «чужое». «Свое» — это то, что близко, принято, понятно. Это некая нравственная категория, через которую воспринимаются все события и феномены. «Чужое», таким образом, становится предметом удивления, восторга или, напротив, отрицания. Оценка «чужого» напрямую зависит от того, что принято в «своей» среде. Конфликт «свое» — «чужое» является основополагающим в процессе поиска своей идентичности.

Наделяя нации вполне человеческими характеристиками и качествами, мы тем самым поднимаем интересный вопрос, который в последнее время занимает многих ученых, в том числе лингвистов: «Национальный характер: миф или реальность?» Национальный характер при этом понимается как некая совокупность черт, типичных моделей поведения и реакций, присущих подавляющему большинству представителей одной и той же нации. Несмотря на то, что до сих пор нет единого мнения о научности термина «национальный характер», совершенно ясно, что различные культуры диктуют различные поведенческие, моральные нормы, различные понимания того, что есть хорошо, а что неприемлемо. Именно поэтому поведение иностранцев часто кажется нелепым, смешным, а иногда вопиющим. Как правило, различия в поведенческих нормах проявляются в отношениях к вещам вполне обычным, даже обычным, таким как прием пищи, выражение чувств, деловой этикет, отношение к работе, семье, собственности.

Американское рукопожатие при знакомстве и с мужчиной, и с женщиной скорее всего вызовет у русского недоумение. В свою очередь американец сочтет нарушением личного пространства (*privacy*) стремление русского подойти поближе, похлопать его по плечу, обнять (что в русской культуре является естественным выражением симпатии). Примеры из словаря Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners наглядно демонстрируют негативное, даже враждебное отношение представителя американской культуры к посягательству на его личную жизнь:

privacy

1. If you have **privacy**, you are in a place or situation which allows you to do things without other people seeing you or disturbing you. *He greatly resented the publication of this book, which he saw as an embarrassing invasion of his privacy...*

2. If someone or something **invades your privacy**, they interfere in your life without your permission. *He said the press invaded people's privacy unfairly and unjustifiably every day.*

(Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners on CD-ROM. Harper Collins Publishers, 2001.)

Американца, вероятно, будет раздражать привычка русских опаздывать на деловую встречу, в то время как русский сочтет вполне возможным задержаться, а опоздание в рамках пятнадцати минут и вовсе расценит как норму приличия. «*Time is money*», — говорят в США, подразумевая, что время — величайшая ценность, которую надо оберегать и хранить. Именно поэтому так распространено выражение *to save time*, которое дословно можно перевести как «спасти время» — вероятно, от неразумной траты:

...If you save something such as time or money, you prevent the loss or waste of it.

(Collins COBUILD Advanced Dictionary of American English. Glasgow, 2007. P. 1160.)

При обсуждении лекции американского оратора русские студенты назвали его выступление блестящим, убедительным и профессиональным (*brilliant, persuasive, efficient*). Однако общее удивление студенческой аудитории вызвало то, что в середине лекции американский профессор сел на парту и в таком положении продолжил свою речь. Подобный жест, как отмечали студенты, был бы вряд ли возможен со стороны русского профессора: «Наши отношения в аудитории более формальны и регламентированы, нравится нам это или нет». Менее формальными в американской культуре являются также

отношения работник — работодатель. Составители словаря Collins COBUILD Advanced Dictionary of American English в приложении к нему предлагают модель ведения деловой встречи — собеседования с соискателем. Разговор, по видению американских лексикографов, должен получиться совсем не официальным: беседе предлагается начать с так называемого *small talk*:

Работодатель: How was the drive? Would you like a cup of coffee? Do you happen to know (Terry Mendham)?

Соискатель: What a great view!

(Collins COBUILD Advanced Dictionary of American English. P. 1560.)

Общее позитивное отношение американцев к жизни выражается в широко известной концепции *позитивного мышления* (*positive thinking*), предполагающей оптимистический настрой и уверенность в том, что все будет *great*. Эту концепцию иллюстрируют также типичные в американской культуре пожелания: *enjoy yourself, have fun*.

Для русского человека такие понятия, как «самосозерцание», «грусть», «душа», «духовность», «душевность», «душевный», «тоска», стали фундаментальными, ключевыми понятиями менталитета. Не случайно эти слова часто появляются в англоязычных текстах без перевода или пояснения:

«Russian call their openness their broad spirit, *shirokaya dusha*, and they pride themselves on talking openly *dusha-dushe*, heart to heart, or literally soul to soul» [2, с. 94].

«...The orchestra still manages to embody *dusha*, that spirit of Russian soul that is both all-encompassing yet... Mr. Temirkanov also directs the Baltimore Symphony Orchestra. *Dusha* is good thing to have these days...» (The Washington Times. 2002. Mar., 9).

«...Those great Russian words like *toska* (anguish) or *remont* (repairs) that so concisely sum up a wealth of associations that their English equivalents cannot» (SPb Times. 1997. May, 23. Цит. по: [2, с. 455]).

Из примеров словарных статей справочных изданий видно, что, даже если отрицать существование национального характера как феномена, следует признать тот факт, что игнорирование принятых норм, моделей поведения, скорее всего, приведет к коммуникативным неудачам. Связаны эти неудачи будут в первую очередь не с плохим или недостаточным знанием, скажем, английского языка русскоязычным коммуникантом, а с недостатком того, что принято называть *фоновыми знаниями*.

О. А. Леонтович пишет: «...даже если согласиться с мнением о том, что понятие национального характера ненаучно, а существует лишь на бытовом уровне, как считают некоторые ученые, то следует вспомнить, что межкультурная коммуникация во многих случаях как раз и осуществляется на бытовом уровне, и поэтому понятие национального характера должно учитываться в теории межкультурной коммуникации» [6, с. 158].

Роль лексикографии в формировании фоновых знаний, раскрытии особенностей национального, адекватной трактовке реалий трудно переоценить. Проблема соотношения языка и культуры все больше занимает лексикографов-практиков. Связано это прежде всего с осознанием необходимости учитывать национально-культурную специфику при семантизации входных единиц. В этой связи вопрос типологии словарных изданий сегодня представляет особую актуальность. О. М. Карпова считает проблему классифика-

ции словарей основным вопросом лексикографии [3]. Сегодня «явно прослеживается тенденция к универсализации справочного издания. Это проявляется прежде всего в том, что справочник может включать как лингвистическую, так и энциклопедическую информацию. Традиционное сопоставление лингвистический/энциклопедический словарь становится все менее актуальным» [3, с. 12]. Следовательно, логично было бы предположить, что одним из основных критериев определения типа словаря должен стать адресат, а именно понимание того, предназначен ли справочник носителю языка или выступает в качестве лингвострановедческого пособия для изучающего иностранный язык и, что немаловажно, культуру.

В последнее время как в англоязычной, так и в отечественной лексикографии появляется целый ряд удачных попыток создания словарей, отражающих язык через призму национальной культуры: Chamber's 21st Century Dictionary: The Living Language. Edinburgh, 1996; Longman Dictionary of English Language and Culture. 3rd ed. Harlow, 2005; Pocket Oxford Russian Dictionary: Plus Grammar + Culture + Communication. Oxford, 2006; Кабакчи В. В. Англо-английский словарь русской культурной терминологии. СПб., 2002.

Новейшей и, несомненно, перспективной и актуальной областью лексикографии следует назвать появление словарей для иммигрантов (например, The Immigration Dictionary and Glossary Online. <http://www.ats-group.net/glossaries/glossary-lexicon-immigration>) [1; 5; 9]. Необходимость этих справочников связана с потребностью большого количества переселенцев как можно менее болезненно адаптироваться к «чужой» среде, а следовательно, познакомиться с культурой, традициями и обычаями стран, в которые они прибывают.

Толкование в таком справочнике направлено на описание конкретной ситуации (чаще трудности) и представляет собой совет, выдержку из документа или положения. При этом определение, предлагаемое авторами, может значительно отличаться от общепринятого толкования, встречаемого в лингвистическом словаре, например:

Translations

Documents to be submitted with a visa or status extension application in a language other than English must be translated into English. The documents you supply to an U.S. Consulate abroad, however, will be accepted if they are in the language of the country where the documents are being filed (except for Japan).

(The Immigration Dictionary and Glossary Online. <http://www.ats-group.net/glossaries/glossary-lexicon-immigration>)

Сравним со словарной статьей, представленной в традиционном справочнике:

translation

1. A translation is a piece of writing or speech that has been translated from a different language. ...*MacNiece's excellent English translation of 'Faust'...* I've only read *Solzhenitsyn in translation*.

(Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners on CD-ROM. 2001.)

Итак, составители подобных словарей фиксируют в словнике понятия и концепты, необходимые для осуществления успешной коммуникации, комментарии и рекомендации, позволяющие избежать коммуникативных неудач [10]. По словам О. М. Карповой, «процесс культурной интеграции иммигран-

тов в западное общество предполагает не только обеспечение их работой и социальными гарантиями цивилизованного государства, но также и культурную интеграцию их в до недавнего времени совершенно чуждый им образ жизни» [1, с. 6]. Именно поэтому словари для иммигрантов, описывающие особенности иноязычной культуры, получают все большее распространение и приобретают популярность.

Словари, отражающие национальный характер, культуру страны, как правило, разнообразны в жанровом плане, в каждом из них может сочетаться множество типов лексикографических произведений [4]. В этой связи интересен цитированный выше «Англо-английский словарь русской культурной терминологии» под редакцией В. В. Кабакчи, вышедший в 2002 году. Автор описывает более 2500 ксенонимов-русизмов, отобранных из более чем 130 англоязычных произведений о русской культуре, а также из значительного количества газет и журналов [2]. Помимо географических (*Baikal, Leningrad, oblast*), политических (*duma, glasnost, perestroika*), исторических (*kulak, mamai, nadel, družhina*), экономических (*gosbank, sberbank*), религиозных (*matushka, ikon*) реалий, в словаре широко представлены бытовые элементы советской и русской культуры (*marshrutnoe taxi, nachalstvo, dnevnik, elektrichka, fortotchka, glubinka, papirosy, podstakannik, remont, rynek, tapochki*).

Словарная статья снабжена историческим или культурологическим комментарием, а также примерами из англоязычных СМИ, например:

ТАПОЧКИ *clothes slippers*.

Этот на первый взгляд несущественный элемент русской культуры после прибытия в Россию тысяч экспатриантов стал упоминаться на страницах англоязычных газет.

E.g.: ...See the famous people up close and personal! See them in their tapochki, or slippers, in their apartment, which looks exactly like your apartment.

Lined up near the door or stacked in the corner, multiple pairs of tapochki await their owners' guests... [2, с. 443].

Еще пример:

SELEDKA *culinary* (salted or marinated) herring.

Сельдь, разумеется, едят не только в России, но только здесь *селедка*, в качестве демократической популярной закуски, приобрела статус национального культа, а поэтому часто упоминается иностранцами.

...”*Selyodka*” (herring) was my friend’s comment upon finally sampling the delicacy about which he had heard so much [2, с. 379].

Как показывают приведенные выше иллюстрации, словарная статья состоит из заглавного слова, отражающего понятие или концепт русской культуры, функциональной пометы, перевода в случае необходимости, комментария автора на русском языке, примеров-иллюстраций. Словарь предназначен для тех, кто часто сталкивается с необходимостью трактовать элементы «своей» культуры для представителя «чужой» среды. Нетипичная структура словарной статьи, авторские пояснения, экскурсы в историю — все это работает на максимальную информативность справочника.

Данный труд, несомненно, является ценным собранием примеров, содержащих оценки русской культуры представителями англоязычных культур. Далеко не все собранные в словаре лексемы широко известны англоязычному пользователю, как, например, *Bolshoi, Duma, tovarishch*; некоторые из

входных единиц и вовсе кажутся окказиональными (*apteka, blatnoi, chastnik, dolgostroy, electricchka*), а их регистрация в словаре культуры спорной. Однако следует, вероятно, исходить из того, что так как данные русизмы все чаще появляются на страницах англоязычных СМИ, то именно эти лексемы в глазах иностранцев являются русской «культурно-маркированной лексикой», а следовательно, их включение в словарь русской культуры вполне оправдано.

Сегодня, когда лексикография далеко вышла за пределы фиксирующей и предписывающей отрасли знаний, став по сути дела «reference science» [4], во главу угла встает вопрос о том, какими будут справочники в ближайшее время. Грамотный пользователь привлекает лексикографические труды для решения конкретных задач. Одной из таких задач все чаще становится избежание коммуникативных неудач, ошибок в процессе осуществления межкультурной коммуникации. Поэтому разработка словарей культуры должна стать перспективным и чрезвычайно востребованным направлением новейшей лексикографической науки.

Библиографический список

1. *Авербух К. Я., Карпова О. М.* LSP иммиграции: проблемы формирования и развития // Вестн. Иван. гос. ун-та. Иваново, 2007. Вып. 1.
2. *Кабакчи В. В.* Англо-английский словарь русской культурной терминологии. СПб., 2002.
3. *Карпова О. М.* Лексикографические портреты словарей современного английского языка. Иваново, 2004.
4. *Карпова О. М.* Лексикография или reference science?: Справочники нового поколения // Вестн. Иван. гос. ун-та. Иваново, 2006. Вып. 1.
5. *Карпова О. М., Авербух К. Я.* Языки для специальных целей как порождение новых социальных отношений в обществе // Человек и язык в поликультурном мире. Владимир, 2006.
6. *Леонтович О.* Введение в межкультурную коммуникацию. М., 2007.
7. *Попова М.* Национальная идентичность и ее отражение в художественном сознании. Воронеж, 2004.
8. *Цымбурский В.* [Интервью «Русскому Архипелагу»]. М., 2002. <http://antropotok.archipelag.ru/text/a120.htm>
9. *Карпова О.* Dictionaries of New Subject Areas with Special Reference to LSP of Immigration // 13th International Symposium on Lexicography: Abstracts. Copenhagen, 2007.
10. *Карпова О. М.* Modern Trends in Lexicography with Special Reference to English and Russian Dictionaries // Современная лексикография: глобальные проблемы и национальные решения: Материалы VII Междунар. школы-семинара, Иваново, 12—14 сентября 2007 г. Иваново, 2007.

О. А. Ужова

КУЛЬТУРНЫЕ АССОЦИАЦИИ В ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ СЛОВАРЕ

Описывается презентация культурно ориентированной лексики в словаре «Великобритания. История и культурные ассоциации». Подчеркивается, что входные единицы словаря несут информацию не только о значении, но и употреблении их в речи. Это является важным отличием данного лексикографического произведения от страноведческих словарей традиционного типа. Известно, что адекватная межкультурная компетенция может сформироваться у пользователя только при наличии сведений об употреблении конкретных языковых единиц в речи. Приводятся обширные примеры, иллюстрирующие данное утверждение.

The article deals with the way to present cultural vocabulary in the dictionary “Great Britain. History and Cultural Associations”. The entries to the dictionary give information on meaning of a language unit and at the same time information on its usage. In this way the dictionary described differs from traditional forms of country study dictionaries. Adequate cross-cultural competence can be achieved if a dictionary supplies the users with information not only on meaning but also on usage of a language unit. The statement is vastly exemplified.

Общеизвестно трепетное отношение англичан к своей истории, настойчивое следование традициям, сохранение исторического наследия, которое составляют не только всемирно известные памятники, но и «пыль истории»: мелкие предметы быта, старинные инструменты, старые газеты. По мнению С. Г. Тер-Минасовой, это является следствием особого восприятия времени, характерного для британской культуры. Британская культура в отличие от российской ориентирована на прошлое. Кратко формулируя разницу между этими культурами, можно сказать: нации ориентированные на прошлое, считают, что их жизнь в былые времена была лучше, чем сейчас, и именно там следует черпать и энергию, и стимул к развитию. В философии и культуре Англии утверждается вера в то, что самое страшное, что может случиться со страной и с народом, — это великое шекспировско-гамлетовское «Прервалась связь времен!». Без связи с прошлым нет будущего. В современной Англии эти настроения не просто живы — они очень сильны [3, с. 198].

В своем исследовании концепта времени на материалах газет «The Times» и «The Daily Telegraph» Е. И. Сухина, анализируя лексику, используемую в статьях, отмечает открытое признание в любви к векам минувшим (*unspecified good old days*), притягательную силу отдельных исторических периодов (*commitment to the Saxon period*), осознание прошлого не менее реальным, чем настоящее (*cross-Channel insults, along with Waterloo, Joan de Arc and turkeys*) и, наконец, ощущение некогда существовавшего как до сих пор актуального (*Even the Isle of Wight, hardly fashionable since Queen Victoria spent half a century at Osbourne House in mourning for Prince Albert, is rapidly changing*). Итог размышлений и анализа автора заключается в следующем:

прошлое на территории островов обладает исключительной жизненностью, время движется по-особому (тот мифологически условный вариант, который предполагают упоминаемые газеты), ощущается упоение прошлым, признается плавное течение времени и созерцание громады веков [2].

Принимая уникальное отношение британцев к своей истории, следует признать необходимость для изучающих английский язык словаря-справочника по истории Великобритании. Причем такой словарь должен не только регистрировать словарные единицы, относящиеся к конкретному историческому периоду и ориентированные на значение, но и включать раздел с элементами комментирования, имеющий указания на употребление. Здесь должны быть зафиксированы идиомы, устойчивые сочетания, цитаты, которые закрепились в языке, тесно связаны с определенным историческим периодом, отражают его.

Включение подобных языковых единиц в словарь необходимо, так как его пользователи, для которых английский язык не является родным, не обладают фоновыми знаниями как обоюдным кодом (*shared code*), а ведь именно на нем зиждется коммуникация. Отсутствие обоюдного кода ведет к нарушению акта коммуникации.

Реалии, связанные с историей Великобритании, к которым относятся топонимы, андронимы, иногда историзмы и архаизмы, встречаются и в устной речи, и в газетных статьях, и, конечно, в художественной литературе.

Вспоминается встреча с британскими студентами, приехавшими в школу с углубленным изучением английского языка для знакомства со старшеклассниками. Они легко общались со своими ровесниками, единственной заминкой был момент представления одного из членов британской команды, который был назван *the druid of our team*. Оказалось, что он вовсе не был последователем древних жрецов, а всего лишь увлекался различными методами народного целительства, интересовался нетрадиционной медициной. Таким образом, слово «друид» приобрело в данном контексте коннотацию, неизвестную русским. Хотя из определения слова следует, что друиды были не только жрецами, учеными, советниками правителей, но и целителями.

Рассмотрим примеры употребления лексики, связанной с английской историей, в английской и американской прессе [4, с. 59].

Among themselves, Carter strategist argued optimistically that the old romance of Camelot would play badly in the harsh climate of the 1980-s (Newsweek. 1999. Sept., 24).

At several Cambridge dinner parties one heard faculty-types discuss institutional politics, their glory days in Washington when Camelot reigned, their books or research or career frustration (Larry King. «Blowing My Mind at Harvard»).

В приведенных отрывках упоминается Камелот, город, где по легенде жили рыцари Круглого стола и находился двор короля Артура. В переносном значении это время или место славных деяний. Интересно, что в американской прессе данное слово приобрело уникальное значение: так стала называться администрация Кеннеди. В настоящее время слово в его последнем значении иногда используется иронически. В сравнении администрации Кеннеди с рыцарями Круглого стола проявилось намерение идеализировать Кеннеди и его окружение, создать миф о группе молодых, мужественных, красивых, высокообразованных, блестящих людей с Кеннеди во главе, кото-

рые стремились лишь к высоким идеалам на благо нации и мира. Надо отметить, что, несмотря на нынешнее ироническое восприятие мифа о Кеннеди, сама идея мессианства, ведущей роли США как мирового лидера исторически очень настойчиво проводилась и проводится в американском политическом дискурсе. Не случайно представление о славном прошлом, воплощенном идеей благородного служения (король Артур, рыцари Круглого стола, Камелот), соединено с образом молодого американского президента.

Now it is true that Vance and Owen appear overmatched trying to bring Anglo-Saxon style conciliation to a place ravaged by Byzantine blood feud. It is no surprise that the Geneva talks have collapsed; mere mediator cannot force an agreement (Time. 1993. Febr., 8)

В данном отрывке противопоставляются два понятия: *Anglo-Saxon style conciliation* (примирение в англо-саксонском стиле) и *Byzantine blood feud* (византийская кровавая вражда). Здесь четко ощущается, что все, связанное с англо-саксонским отношением к чему-либо, наполнено положительными, теплыми коннотациями. Достаточно вспомнить уже отмечавшуюся «преданность англо-саксонскому периоду» (*commitment to Saxon period*), а вот *Byzantine* помимо значений «коварный, предательский» и «запутанный, сложный» в американском английском приобрело значение «хитрый, скользкий, нечестный».

Несомненно, чаще всего упоминание о различных исторических событиях, людях, фактах встречается в художественной литературе. Рассмотрим примеры из романа С. Моэма «Подводя итоги», текст которого изобилует ссылками, аллюзиями, прямыми упоминаниями о различных фактах истории, важных для национального сознания.

People leave compromising letters about or accidentally hear things they are not supposed to hear as often as they did in Elizabethan times and it is merely a convention that rejects such incidents as improbable [5, p. 133].

В отрывке речь идет о драматургии: театральная аудитория не меняется в принципе и воспринимает те или иные авторские уловки лишь с различной мерой доверчивости. Упоминание о елизаветинских временах (*Elizabethan times*), несомненно, связано с расцветом искусств в эпоху английского Ренессанса, особенно драматургии.

Shaw's advent coincided with the revolt of youth from the conventionality of the Victorian epoch [5, p. 136].

Отмеченная в отрывке ссылка на бунт против условностей викторианской эпохи (*Victorian epoch*) явно будет непонятна русскому читателю, не знающему о том, что «викторианский» обозначает не только исторический период, но и мораль, основанную на узости мировоззрения, лицемерии, нетерпимости.

From time to time, however, writes have engaged in politics. Its effect on them as writers has been injurious. I have not noticed that their counsel has had much influence on the conduct of affairs. The only exception I can recall is Disraeli; but in his case, it is not unfair to say, writing was not an end in itself, but a means to political advancement [5, p. 239].

Не зная того, что британский консервативный политический деятель, премьер-министр и друг королевы Виктории Бенджамен Дизраэли был еще и популярным писателем того времени, трудно разобраться в пассаже о том, почему писателю «вредносна» (*injurious*) политическая деятельность и почему Дизраэли является исключением из общего правила.

To my mind King James's Bible has been a very harmful influence on English prose. I am not so stupid as to deny its great beauty. It is majestic. But the Bible is an oriental book. Its alien imaginary has nothing to do with us. Those hyperboles, those luscious metaphors, are foreign to our genius. I cannot but think that not the least of the misfortunes that the Secession from Rome brought upon the spiritual life of our country is that their work for so long a period became the daily, and with many the only, reading of our people. Those rhythms, that powerful vocabulary, that grandiloquence, became part and parcel of the national sensibility. The plain, honest English speech was overwhelmed with ornament. Blunt Englishmen twisted their tongues to speak like Hebrew prophets. There was evidently something in the English temper to which this was congenial [5, p. 25].

В этом высказывании С. Моэма, сделанном в присущей ему парадоксальной и иронической манере, речь идет о неоднозначном влиянии Библии короля Якова (King James's Bible) на британский национальный характер и на все последующее развитие английской прозы, упоминается здесь и отделение от римской церкви во времена Генриха VIII (*the Secession from Rome*), которое, по мнению С. Моэма, оказало пагубное влияние на духовную жизнь страны, и библейские пророки (*Hebrew prophets*), языком которых заговорили грубые англичане. Здесь, несомненно, нельзя обойтись без минимального культуроведческого комментария, так как с его помощью можно узнать, что Библией короля Якова пользуется большинство англиканских церквей начиная с 1611 года и до сегодняшнего времени, что отделение от римской церкви в XVI веке повлекло за собой разрушение католических монастырей, религиозные войны и отчуждение от континентальной католической культуры, что высокопарная напыщенность библейских пророков стала неотъемлемой частью английской чувствительности (*Hebrew prophets*).

Итак, необходимость включения подобных языковых единиц в словарь, посвященный английской истории, не вызывает сомнения, но при этом встает вопрос о том, как организовать мегаструктуру словаря таким образом, чтобы она была компактной, логичной и удобной для пользователя.

Нами предпринята попытка создания словарно-справочного пособия под названием «Великобритания. История и культурные ассоциации». Мегаструктура словаря включает предисловие, словник, который предваряется списком ключевых слов раздела и краткой характеристикой исторического периода, сразу после словника идет раздел, который называется «Cultural Association». На этой части словаря хотелось бы остановиться подробнее. Именно в ней сконцентрирована лексика, имеющая исторические коннотации и используемая в современном языке. Интересно проследить, как закрепились в языке подобные единицы, как они функционируют и живут в нем.

Язык — свидетель культуры. Иными словами, многие положения и принципы этнической культуры могут быть подтверждены языком. Культура может меняться под влиянием многих социально-исторических факторов, например идеологии, пропаганды, политических требований времени. Язык свидетель всех этих изменений, он, как известно, не только отражает, но и хранит культуру, передает ее от поколения к поколению.

Как один из видов человеческой деятельности язык оказывается составной частью культуры, определяемой как совокупность результатов

человеческой деятельности в разных сферах жизни человека: производственной, общественной, духовной. Однако в качестве формы существования мышления и, главное, как средство общения язык стоит в одном ряду с культурой.

Если же рассматривать язык с точки зрения его структуры, функционирования и способов овладения им (как родным, так и иностранным), то социокультурный слой, или компонент культуры, оказывается частью языка или фоном его реального бытия [3].

Важная роль языка в качестве хранителя и свидетеля культуры в последнее время привлекла повышенное внимание ученых как проявление «памяти языка». Речь идет о «генетической», «культурной», «исторической» памяти. Она может проявляться как относительно открыто и явно, так и в скрытой форме, доступной только в результате глубоких диахронических исследований, проводимых профессиональными лингвистами. Открытая память языка иногда доступна даже просто внимательному и интересующемуся своим языком носителю [3, с. 19].

С нашей точки зрения, лексика с историческими коннотациями, переосмысленная с течением времени, получившая новое значение, является свидетельством такой «исторической» памяти. В создаваемом словаре она представлена собственно историческими терминами, словосочетаниями, фразеологическими сочетаниями, идиомами, пословицами и т. д., понять ее без знания культурно-исторического контекста едва ли возможно.

В то же время в этой части словаря имеются указания на употребление слова в речи. Здесь делается попытка преодолеть общий недостаток большинства лингвострановедческих словарей, ориентированных только на значение. Ведь, по мнению О. М. Карповой, страноведческие издания, отражающие сведения об истории, географии, традициях народа, то есть передающие значение, но не имеющие указания на употребление, не могут служить формированию у пользователя адекватной межкультурной компетенции [1, с. 30].

Приведем примеры из раздела «Cultural Association».

Roman numerals [фон. символы] letters of the alphabet used in ancient Rome to represent numerals. Roman numerals are often used to signify divisions of a long work, or a work with many parts. They are also used to lend signification to something, as World War II.

Rex [фон. символы] a Latin word meaning the ruling king. t is used in official documents or announcements after a king's name, e.g. George Rex. It is often used in British law in the titles of court cases, e. . Rex v Jones, where Rex stands for the government.

All roads lead to Rome [фон. символы] (proverb) all paths or activities lead to the center of things. In the days of the Roman Empire all the empire's roads radiated out from the capital city, Rome.

When in Rome do as the Romans do [фон. символы] (proverb) when visiting a foreign country, follow the customs of those who live in it.

Vandals [фон. символы] a people of northern Europe known for their cruelty and destructiveness who invaded the Roman Empire and plundered Rome itself in the fifth century. The noun vandalism is used to denote wanton destructiveness, it comes from the name of the Vandals.

Раздел «Культурные ассоциации», относящиеся к римскому периоду английской истории, предваряется следующими комментариями: большинство английских поговорок, пословиц, клише, словосочетаний стали широко известны, когда латынь превратилась в *lingua franca* в Средние века. Поскольку римляне оставались на территории Британских островов почти 400 лет, эти языковые единицы особенно близки английской культуре. Следует отметить, что в тех случаях, когда область применения определенной языковой единицы прозрачна, указаний на употребление нет.

Далее приводятся примеры из раздела «Культурные ассоциации», относящиеся к другим периодам английской истории.

Medieval [фон. символы] a descriptive term for people, objects, events and institution of the Middle Ages. Medieval is sometimes used as a term of disapproval for outdated ideas and customs. It may suggest inhuman practices, such as torture of prisoners.

Puritans [фон. символы] a group of radical English Protestants that arose in the late sixteenth century and became a major force in England during the seventeenth century. Puritans wanted to purify the Church of England by eliminating traces of the origin in the Roman Catholic Church. In addition, they urged a strict moral code and placed a high value on hard work. The word puritans and puritanical have come to suggest a zeal for keeping people from enjoying themselves. It is often used to show disapproval.

Luddites [фон. символы] opponents of introduction of labor-saving machinery. The followers of a legendary Ned Ludd were British laborers of the early nineteenth century who smashed textile-working machines that threatened their jobs. To show disapproval contemporary opponents of technological change are sometimes called "Luddites".

Victorian [фон. символы] besides relating to the period when Queen Victoria ruled, it now means old-fashioned and with very strict moral attitudes, especially relating to sex.

Таким образом, предложенная мегаструктура словаря «Великобритания. История и культурные ассоциации», в который включена не только культурно ориентированная лексика, передающая значение, но и раздел, где имеются указания на употребление, оптимальна для пользователя, для которого английский язык не является родным.

Библиографический список

1. Карпова О. М. Лексикографические портреты словарей современного английского языка. Иваново, 2004.
2. Сухина Е. И. Пространство и время в современном британском и русском самосознании сквозь призму прессы: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2004.
3. Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур. М., 2007.
4. Трофимова З. С. Словарь новых слов и значений в английском языке. М., 1993.
5. Maughan W. S. The Summing up. London, 1938.

А. А. Хуснутдинов

У ИСТОКОВ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ И ФРАЗЕОГРАФИИ

Рассматриваются основные идеи отечественных лексикографических и исследовательских работ конца XVIII — начала XX в., которые способствовали становлению и развитию фразеологии и фразеографии.

The main concepts of the native lexicographic and research works of the end of the XVIIIth — the beginning of the XXth century which provided establishment and development of phraseology and phraseography are considered.

Становление и развитие отечественной фразеологии и фразеографии происходило в тесном взаимодействии этих отраслей знания. С одной стороны, степень теоретического осмысления и познания категориальной сущности фразеологии языка во многом определялась объемом и качеством лексикографической разработки фразеологических материалов в словарях, причем на определенных этапах лексикографические труды послужили основой для новых научных концепций и идей (ср., например, «Фразеологический словарь русского языка» 1967 года [38] и монографию А. И. Молоткова «Основы фразеологии русского языка» [23]). С другой стороны, достижения фразеологической науки способствовали совершенствованию лексикографического описания устойчивых выражений в словарях, созданию фразеологических словарей разных типов, появлению особой ветви в лексикографии — фразеографии¹. Следовательно, объективное описание процесса становления и развития фразеологической науки невозможно без оценки места и значения тех лексикографических изданий, которые внесли свою лепту в научное описание фразеологии языка, а истории фразеографии — без учета результатов теоретических разысканий фразеологов в тот или иной исторический период.

Осмысление, систематизация и научное описание устойчивых выражений как особой разновидности сочетаний слов в языке началось задолго до возникновения фразеологической науки и фразеографии. Описание фразеологического фонда русского языка фактически началось в период становления лексикографии как особой отрасли науки, так как уже составителями первых словарей была осознана необходимость привлечения фразеологического материала («речений», «вещаний», «выражений») при лексикографической разработке слов. Так, Е. Э. Биржакова отмечает, что в «Словаре Академии Российской» (1789—1794) описываются следующие группы устойчивых сочетаний: 1) пословицы, поговорки, присловицы; 2) терминологические сочетания; 3) фразеологические выражения, идиоматика [6, с. 253]. Важно указать, что фразеология в САР получала особую лексикографическую разработку, а не использовалась просто как иллюстративный материал, демонстрирующий возможность употребления того или иного слова в составе устой-

© Хуснутдинов А. А., 2008

¹ Термин *фразеография* прочно утвердился в научном обиходе: он широко используется не только в специальной научной литературе, но и в учебных пособиях [29, с. 78—79; 36, с. 6], зафиксирован в энциклопедических [28, с. 384] и терминологических словарях [24, с. 231].

чивых сочетаний. Специфика устойчивых выражений виделась в том, что они, в отличие от обычных сочетаний слов, требовали особого толкования, поэтому в САР устойчивые сочетания (за единичными исключениями) снабжались толкованиями, например: «Пословица: *Согнуть кого в бараний рог*. Притеснять кого до крайности (т. 1, с. 98); «Поговорка: *Масть к масти подбирается*. Говорится в смысле насмеятельном о людях одинаковых качеств и своим союз составляющих» (т. 1, с. 152); «Присловица: Как в торгу нельзя предугадать, от чего барыш или наклад будет по расположению обстоятельств, то в таком разуме говорят: *барыш с накладом на одних санях ездят*» (т. 1, с. 107); «**Артиллерия осадная**. Ломовые огнестрельные орудия, употребляемые при осаде крепостей, к разбиванию стен и метанию бомб в город. **Артиллерия полевая**. Такого же рода огнестрельные орудия, употребляемые в поле. **Артиллерия полковая**. Небольшие пушки, какие при всяком пехотном полку находятся» (т. 1, с. 49); «**Ходить гоголем**. Уподобительно говорится о человеке таком, который ходит гордо, спесиво, поднявши голову» (т. 2, с. 163); «**Он как столб не гнется**. Уподобительно говорится о таком, кто весьма груб, неуклончив» (т. 2, с. 120); «**Своды сводить**. Образ вещания простонародного, значащий: заводить смуты, переносить смутные речи» (т. 1, с. 566); «**Барашек в бумажке**. Принос судье денег; взятка судейская» (т. 1, с. 98); «**Глаза разбежались**. Говорится о таком, кто, увидя разные предметы одинакового достоинства, не знает что из них выбрать» (т. 2, с. 64); «**Делать что на скорую руку**. Делать как ни попало, не употребляя прилежания» (т. 5, с. 206).

Ценность САР определяется не только тем, что в нем собран и описан богатый фразеологический материал, отражающий основной состав фразеологии литературного языка своего времени². Е. Э. Биржакова отмечает, что «авторы Словаря пытались осмыслить и разграничить разные явления (ср. выделение наречных сочетаний и сочетаний метафорического характера, особые способы описаний идиоматической терминологии)». Исследовательница указывает, что составители последовательно выделяли сочетания наречного характера (**с набегу, до отвалу, под видом, точь в точь, бок о бок, все на все, с часу на час** и т. п.), снабжая их пометой «во образе наречия», например: «**На выбор**. Во образе наречия употребляемое слово, значущее право или дозволение избрать что по желанию. *Отбирать, покупать, торговать на выбор*» (т. 1, с. 137); «**На бегу**. Предложный сей падеж употребляется во образе наречия, и значит бегучи. *На всем бегу наклонясь подхватил камень* (т. 1, с. 415—416) [6, с. 260—261]; особым образом (значком *, условно обозначающим переносные значения) отмечали сочетания, которые могли употребляться и как свободные, и как устойчивые (**рыть яму кому, заруби себе нос, развязать кому руки, навязываться кому на шею, булавка в голове, збиваю рога кому, вбиваю в голову, гладить по голове или по головке, гнуть горб, гнуть кого в дугу, в крюк, попасться в когти, расхлебать кашу, протереть глаза деньгам** и др.) [там же, с. 260—261]; использовали особые лексикографические средства для дифференциации раз-

² Даже при запрете на включение в словарь «низких», «неблагопристойных» и иноязычных выражений (в связи с общими установками, принятыми составителями) в САР, по наблюдениям Е. Э. Биржаковой, описано более 2700 устойчивых сочетаний только идиоматического характера [6, с. 260—263].

личных пластов терминологических сочетаний [там же, с. 258—260]. В целом следует согласиться с выводом Е. Э. Биржаковой: «“Словарь Академии Российской” положил начало практической работе в области фразеологии, тому накоплению материалов, без которых невозможны серьезные теоретические обобщения и которые впоследствии лексикография представила в распоряжение исследователей» [там же, с. 270].

Особо укажем на пункты, которые имеют непосредственное отношение к фразеологии и фразеографии.

1. К этому времени уже было осознано, что словарное богатство языка составляют лексика и фразеология. Так, Е. Э. Биржакова, ссылаясь на «Историю Российской Академии» М. И. Сухомлинова, отмечает, что в «Уставе Императорской Российской Академии» указывалось на разграничение слов и речений: «Богатство языка явствует из обилия слов и речений (фразесов), когда всякая вещь, всякая мысль и всякое деяние собственными словами и речениями изображается» [там же, с. 252]. Задачей САР, как сказано в предисловии, было «изъяснение слов, речений, речей и разного рода образований в языке славенороссийском употребительных». Традиция описания в словарях слов и устойчивых сочетаний сохраняется до настоящего времени.

2. Было обращено внимание на неоднородность устойчивых сочетаний, на необходимость дифференциации устойчивых выражений и их терминологического обозначения. Составители САР разграничивали (хотя и не всегда последовательно, с современной точки зрения) сочетания терминологического характера, пословицы, присловицы, поговорки и выражения, которые в настоящее время квалифицируются как идиоматические.

3. В этот период начинается разработка приемов и способов лексикографического описания устойчивых выражений: составители САР должны были определить критерии отбора устойчивых сочетаний, способы размещения фразеологического материала в словаре, выработать принципы их истолкования.

Осознание устойчивых словесных комплексов как особых, необычных сочетаний слов в языке, которые употребляются в речи как воспроизводимые единицы, привело к пониманию необходимости их лексикографической разработки в специальных словарях, в которых они могли бы быть всесторонне описаны с учетом своеобразия их формы, содержания и функционального назначения. Это предопределило появление целой серии словарей-сборников, представляющих собой собрания пословиц, поговорок, изречений и т. д.³ Эти сборники ценны не только как свод определенным образом систематизированных фразеологических материалов. Их составители вырабатывали критерии отграничения устойчивых выражений от других сочетаний слов, делали попытки внутренней дифференциации этих единиц, намечали пути и способы их лексикографического описания⁴. Изучение специальных лексикографических работ «дофразеологического» этапа, посвященных опи-

³ См., напр.: «Старинные сборники русских пословиц, поговорок и проч. XVII—XIX столетий», опубликованные П. К. Симони [34], сборники И. М. Снегирева [30], Ф. И. Буслаева [8], В. И. Даля [26], С. В. Максимова [21], М. И. Михельсона [22] и др.

⁴ Сложившиеся при составлении этих словарей и сборников принципы лексикографической разработки устойчивых выражений принимаются во внимание и используются при создании лексикографических изданий и в наши дни, см., напр.: [4, 5, 17, 35].

санию устойчивых и воспроизводимых сочетаний слов, позволяет увидеть уровень их теоретического осмысления в период, предшествовавший становлению фразеологии и фразеографии, и определить их место и значение в истории лингвистической науки.

Определение места и значения этих сборников в истории фразеографии составляет особую задачу, здесь же обратимся к двум лексикографическим работам — «Пословицам русского народа» (далее: Сборник) и «Толковому словарю живого великорусского языка» (далее: Словарь) В. И. Даля. Ценность этих лексикографических работ как наиболее полного собрания идиом и иных устойчивых выражений русского языка не вызывает сомнения, поэтому остановимся на некоторых вопросах, которые представляются важными в свете обсуждаемой темы.

Важнейшими проблемами того времени были научное определение понятия *выражение* (этот термин утвердился в лексикографической практике XIX века для обозначения фразеологических единиц), разграничение типов устойчивых сочетаний и их терминологическое обозначение.

В Словаре Даль очерчивает весьма широкий круг типов устойчивых сочетаний русского языка: «пословицы», «поговорки», «пословичные изречения», «присловья», «притчи», «речения», «обороты речи», «приговорки», «прибаутки», «скороговорки» и т. д., ср.: «**ПРИСЛОВИЦА** ж. *присловье* ср. вообще, короткая речь с отдельным смыслом, вставляемая в разговоры пословица, поговорка»; «<**ПОБАИВАЮТ**> *Побайка*, побаска, побасенка; поговорка»⁵; «<**ПОБАСИТЬ**> Побаска, *побасенка*, *побаутка* ж. анекдот, коротенький, забавный рассказец; иногда говор, поговорка, местные обороты речи»; «<**ПОГУТАРИТЬ**> *Погуторка* ж. поговорка, прибаутка, побаска, погудка»; «<**ПОСЛОВУ**> *Пословье* ср. *пословка* ж. присловье или поговорка, оборот речи и способ выраженья»; «<**БАУТКА**> Пословица, поговорка, в которой заключается целый рассказ»; «**ПРИБАУТКА** (от баять) ж. складная приговорка, поговорка, острое словцо, в пословичной одежде, присказка, прибаска; иногда это короткий, смешной рассказец, анекдот; иногда пустой, но забавный набор слов, с темными намеками»; «<**ПРИГОВАРИВАТЬ**> Приговорка, то же, поговорка; или привычное повторение за каждой речью нескольких слов; или присловье, прозвище, данное уроженцам одной местности». В трактовке названных понятий Даль опирается в первую очередь на их народное понимание, отмечая при этом трудности их четкого разграничения. В «Напутном» к Сборнику он прямо говорит: «Но, назвав пословицу, поговорку, присловье и пр., я таки пришел в тот тупик, из которого не вылезть, не объяснив, что именно я под этими названиями разумею или как понимает их народ».

Среди них Даль особо выделяет два понятия — пословица и поговорка, так как они, по его наблюдениям, составляют основную массу устойчивых сочетаний, имеющих хождение в народе. Термин *пословица* Даль использует в двух значениях. Во-первых, этим термином он обозначает все типы устойчивых и воспроизводимых сочетаний, имеющих хождение в народной речи: «пословица есть собь языка, народной речи, не сочиняется, а рождается сама; это ходячий ум народа»; пословица — «ходячая притча», «это — суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чека-

⁵ Здесь и далее в угловых скобках указано заголовочное слово из словарной статьи, на которое взята цитата.

ном народности. Пословица — обиняк, с приложением к делу, понятый и принятый всеми»; «**ПОСЛОВИЦА** ж. краткое изречение, поученье, более в виде притчи, иносказания, или в виде житейского приговора». Это доказывают и примеры, которые в Словаре Даль квалифицирует как пословицы: «<**КАНДАЛЫ**> Отвага мед пьет и кандалы трет (или рвет, пословица Ваньки Каина); «<**НЕБОГА**> Пословица: Вот тебе, Боже, что нам негоже (что нам не мило, то попу в кадило)»; «<**ОЛОВО**> || стар. свинец, откуда пословица: Слово олово, веско»; «<**ПОДКУРИВАТЬ**> Подкуривать пчел, выживать из улья куравом, для добычи меду, отчего и пословица: Не погнетши пчел, меду не ясти»; «**ПОСЛОВИЧНЫЙ**, к пословице относящийся. Пословичное изречение, принятое в виде пословицы, например из Священного Писания»; «<**ХВАЛИТЬ**> Ржаная (гречневая, ячная) каша сама себя хвалит (начальный смысл этого был прямой: что хорошо, то нечего хвалить, а ныне пословица эта к самохвальству)»; «<**ХОДИТЬ**> *Ходячий, ходящий*, кто или что ходит, может ходить, бывает в ходу. Ходячая кукла. Ходячая монета. Ходячая притча, пословица». Таким образом, здесь Даль под пословицей понимает устойчивый и воспроизводимый оборот, который может использоваться в различных типовых житейских ситуациях для придания речи выразительности. Общим признаком, объединяющим эти разнообразные по форме, содержанию и функциональному назначению выражения, является то, что в них в обобщенном виде представлен духовный опыт народа («собь языка, народной речи», «ходячий ум народа»). Именно такое понимание пословицы дает основание Далю назвать свой Сборник, куда включены разные типы устойчивых сочетаний (собственно пословицы, поговорки, крылатые выражения, присловицы, загадки, идиомы и т. д.), «Пословицами русского народа». Как видим, содержание, вкладываемое Далем в понятие *пословица* в данном случае, близко современному определению фразеологической единицы как устойчивого словесного комплекса, фразеологического оборота, устойчивой фразы⁶.

Во-вторых, термин *пословица* Даль использует и для обозначения особой разновидности устойчивых выражений. Особенности пословицы в этом смысле он описывает, противопоставляя ее другому типу устойчивых выражений — поговорке. Пословица, по Далю, заключает в себе суждение, «житейский приговор», «поучение» и состоит она из двух частей: «полная пословица состоит из двух частей: из обиняка, картины, общего суждения и из приложения, толкования, поучения». Этими свойствами пословица отличается от поговорки: «Поговорка — окольное выражение, переносная речь, простое иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения,

⁶ Вместе с тем Даль четко осознает и неоднородность этих выражений, допуская и возможность переходных случаев, когда то или иное выражение сочетает в себе признаки разных типов устойчивых сочетаний и может переходить из одного разряда в другой, см. его суждения на этот счет: «Пословичным изречением назовем такое, которое вошло, в виде пословицы, в беседу нашу, хотя и не заключает в себе никакой притчи, иносказания, обиняка; например, два изречения, о коих у нас была речь: *Твори бог волю свою* и *Суди бог волю свою*: это не пословицы и не поговорки, а пословичные речи, изречения. Верной и резкой границы и здесь протянуть нельзя; в строгом же смысле в разряд этот перешло бы весьма много пословиц»; «Как простые, так и сказочные пустоговорки иногда обращаются в пословицу, заключая в себе условный смысл»; «К прибауткам же можно причесть и поговорки, иногда пословичные, с обоюдным смыслом, и гру слов» и др.

заклучения, применения; это одна первая половина пословицы. Поговорка заменяет только прямую речь окольную, не договаривает, иногда и не называет вещи, но условно, весьма ясно намекает. Она не говорит: он пьян; а скажет: «У него в глазах двоится, он навеселе, язык лыка не вяжет, он не свиснет, он закатил за ворот, он по одной половице не пройдет, он мыслете пишет» и пр. Вместо он *глуп* она говорит: «У него не все дома, одной клепки нет, он на цвету прибит, трех не перечтет; под носом взошло, а в голове и не посеяно» и пр. Замест *ровни, дружки* говорит она: «Одного поля ягода, одного сукна епанча, одной руки пальцы» и пр. Выражая, например, общее понятие одиночества, поговорка различает состояние это, по всем его отношениям: «Один, как верста в поле; один, как маков цвет; один, как золот перстень; один, как перст; один, как порох в глазу; один, как бухалень (как выпь на болоте), как медведь в берлоге» и пр.». Как видим, главное отличие поговорки от пословицы, по Далю, заключается в том, что поговорка выражает не суждение (как пословица), а «общее понятие», это простое иносказание, заменяющее «прямую речь окольную». В этом смысле поговорки Даля близки к современному пониманию фразеологической единицы. Не случайно значительную часть языкового материала, который Даль определяет как поговорки, современная фразеологическая наука относит к идиоматическим выражениям⁷.

Вместе с тем следует отметить, что в Словаре Даль как поговорки квалифицирует и другие типы устойчивых сочетаний: «<АРТЕЛЬ> артельно на столе, вдоволь пищи; от этого поговорка: Артельно за столом, артельно и на столе»; «<БАРИН> Не станет хлеба, барин даст, поговорка беззаботных крестьян»; «<НИТЬ> Ребята, ребята, коли хотите жить богато, покупайте нитки, да зашивайте дырки! поговорка коробочников»; «<ПРОДАВАТЬ> Не у продажи дело стало (поговорка купцов при уступке товара)»; «<РИСКОВАТЬ> Риск благородное дело, поговорка картежников»; «<РУБИТЬ> нерубленные ратники (охочий человек, *пск.* 1463), повальники, охотники, откуда и бранно поговорка: швед нерубленая голова, вольница»; «<САМ> Откусить свой ус во время еды, значит быть плотоядцем, самоубийцею (поговорка некоторых раскольников)»; **СВИНЕЦ** м. крушец, металл, один из самых мягких и веских, цветом посинее олова; встарь зывали его оловом, откуда и поговорка: слово олово, т. е. веско»; «<СИЗЫЙ> Вы видели нашего сокола, покажите ж нам вашу сизу голубицу, свадебная поговорка»; «<СОКОЛ> Эх, соколики! ямская поговорка»; «<ПРИЗНАВАТЬ> Признаться или признаться сказать, род поговорки: сказать по правде»; «<СОСЧИТАТЬ> При счете,

⁷ Даль указывает и на тесную связь этих типов сочетаний, на возможность их преобразования друг в друга: «Полная пословица состоит из двух частей: из обиняка, картины, общего суждения и из приложения, толкования, поучения; нередко, однако же, вторая часть опускается, предоставляется сметливости слушателя, и тогда пословицу почти не отличишь от поговорки»; «Поговорка иногда весьма близка к пословице: стоит прибавить лишь одно словечко или сделать перестановку, и из поговорки вышла пословица. “Он сваливает с больной головы на здоровую”, “Он чужими руками жар загребает” — поговорки; та и другая говорит только, что это самотник, который заботится о себе, не шадя других. Но скажите: “Чужими руками жар загребать легко”; “Сваливать с больной головы на здоровую не накладно”; “Одного сукна епанча не рознится”; “Одной руки пальцы, и кость одна” и пр., и все это будут пословицы, заключая в себе полную притчу».

до десяти, есть разные поговорки, например Един Бог; два тавля Моисеевых; три патриарха на земле; четыре листа Евангельска: пять ран Господь пре(по)терпел: шесть крыл Херувимских: семь чинов ангельских: восемь кругов солнечных; девять вду радостей; десять Божьих заповедей, единдесять праотец; дванадесять Апостолов»; **ХАЙ** ? *кур. клж.* иди, ступай. Хаем, пойдем. Хай да май, *ниж.* род поговорки: плохие людишки, сброд. Что за гости: один хай да май!»; «**ЛОВИТЬ**» Мы лавливали и ершей, Крылов, перешло в поговорку самохвальства»; **ОСЛА** ? *ж. пск.* закалина в хлебе, в печенье, слой вязкого, осолоделого, непеченного теста; напоминает глаг. *осластить* и *ослизнуть*, и поговорку о таком хлебе: Откусишь, так гребенка: отрежешь, так оселка».

В этом смысле поговорки у Даля соотносимы с понятием *выражение*, которое в тот период использовалось обычно как общее название для обозначения устойчивых и воспроизводимых оборотов (ядро которых составляли идиоматические выражения, т. е. фразеологические сращения и единства), ср.: «**БОГ**» Бог посетил, смиренное выражение о постигшем кого бедствии»; «**ВИДЕТЬ**» || *Поставить кому что на вид, заставить обратить внимание, вразумить, указать. В служебном порядке, поставление на вид равняется легкому замечанию; придумали еще выражение: поставить в виду, которое обращает чье-либо внимание на дело, без выражения неудовольствия»; «**ВЫРАЖАТЬ**» Выражение ср. оконч. действие по значению глаг. и || принятый оборот речи, условный состав слов. Голова вскружилась от забот, жить очертя голову, кутить не в свою голову, выражения принятые и понятные»; **ГЕРМАНИЗМ** м. оборот, или выражение, свойственное немецкому языку, немечизна, например Я не имею времени, мне не время, у меня нет времени; имею честь быть и пр.»; «**ПРИИМАТЬ**» Примите благодарность, признательность мою, вежливое выражение»; «**ТЕРМИН** м. *лат.* выражение, слово, речение, названье вещи или приема, условное выражение. В каждой науке и ремесле свои термины, принятые и условные названия»; «**НАМЕТЫВАТЬ**» Много ли наметал пару? напахал, от выражения метать пар»; «**НАСЛАВЛЯТЬ**, *наславить* что, расславлять, ославлять, прославлять; распускать о чем славу, молву, слух. || от выражения славить Христа, колядовать: приобретать, набирать подавнями, распевая накануне Рожд. Хр. под окнами обычные песни»; «**ПЕРЕПАРИВАТЬ**» || Перепарить пар, пашню, перепарить, передвоить, от выражения парить пашню, пахать» и др. Но термин *выражение* Даль (судя по примерам) применяет в основном для обозначения устойчивых сочетаний терминологического характера, клишированных фраз и оборотов речи, которые используются в определенной сфере деятельности или речевой ситуации, ср.: *метать пар, парить пашню, славить Христа, имею честь быть, примите благодарность* и т. п. Такие выражения отличает от пословиц и поговорок отсутствие иносказательности.

В Словаре Даля отмечены также и слова «фраза», «идиома»: «**ФРАЗА** *ж. франц.* оборот речи, выраженье, реч. **Фразеология**, особенность оборотов речи языка и ученье о сем; «**ИДИОМА** *ж.* или *идиом* м. *греч.* отличительность или особенность языка; местное наречие, говор. **Идиотизм** м. особенность склада, оборота речи, языка, наречия, местного говора». Ср.: «**СЛАГАТЬ**» || Способ выражения мыслей на письме, образ речи, обороты. Даровитость Гоголя выкупает своеобычности его: не всегда правильный язык, странные слова, неровный слог и извращенные обороты. У всякого писателя

свой слог и склад речи»⁸. Отметим, что фразеология в указанном значении используется и сейчас, ср.: «**ФРАЗЕОЛОГИЯ**, -и; ж. <...> 2. Совокупность приемов словесного выражения, свойственных кому-л. или какому-л. времени, направлению и т. п. *Религиозная, националистическая ф. Демагогическая ф.*» [7, с. 1433].

Разумеется, вопросы, связанные с разграничением свободных и устойчивых сочетаний слов, внутренней дифференциацией устойчивых выражений, разработкой принципов размещения фразеологического материала в словаре и способов его описания, интересовали Даля (как, впрочем, и других составителей словарей) прежде всего с практической стороны: что включать в словарь, как размещать и каким образом описывать этот материал в словаре. Однако решение этих практических задач требовало теоретического осмысления языкового материала, что было важно для определения объекта и предмета ряда других наук, сформировавшихся позже, — фразеологии, стилистики, паремиологии, терминоведения.

Не меньшее значение имеют лексикографические труды Даля и для теории и практики фразеологии. В числе проблем, стоящих перед современными исследователями и составителями словарей, наиболее важной является проблема разработки принципов оптимального лексикографического описания устойчивых выражений в печатных и электронных словарях различных типов, в том числе и в словарях слов. Это целый комплекс связанных друг с другом вопросов: критерии отбора ФЕ для словарей различных типов; принципы расположения единиц во фразеологических словарях; определение параметров описания ФЕ; объем информации о единице и способы подачи ее в словаре; структура фразеологического словаря как особого вида справочного издания и структура словарных статей; совершенствование метаязыка словаря, способов описания различных сторон ФЕ, системы помет и т. д. С этой стороны Сборник и в особенности Словарь Даля как лексикографические издания заслуживают всестороннего и обстоятельного изучения и обсуждения⁹.

Вероятно, не случайно и то, что первая специальная работа, посвященная характеристике особенностей собственно фразеологических единиц, принадлежит выдающемуся лексикографу и ученому И. И. Срезневскому. Его статью «Замечания об образовании слов из выражений» (1873) можно считать первой теоретической работой по фразеологии [33]. Сразу же следует обратить внимание на то, что для И. И. Срезневского «выраже-

⁸ Такое понимание соответствует определению фразеологии, сформулированному позднее М. И. Михельсоном в предисловии к своему словарю, ср.: «Фразеология, в широком смысле слова, — совокупность приемов, методов и законов, которыми пользуется и управляется речь каждого отдельного народа (латинская, греческая фразеология)»; «Под фразеологией, в узком смысле слова, — понимается совокупность приемов и методов, определяющих физиономию речи того или другого автора, резко очерчивающих индивидуальность его стиля. В таком смысле можно говорить о фразеологии Ломоносова, Пушкина, Гоголя и др.» [22, т. 1, с. 7].

⁹ В последние годы значительно возрос интерес к творческому наследию В. И. Даля: публикуются статьи и монографии, защищаются диссертации, проводятся научные конференции различного уровня. Среди последних отметим научные конференции под общим названием «В. И. Даль в парадигме идей современной науки», которые с 2001 года проводятся в Ивановском государственном университете [9, 10, 11].

ния» — не «нестройные остатки» прошлых состояний языка, а явление закономерное, ср.: «От каждого времени, прожитого языком, сохраняются вместе со стройными созданиями зиждительной силы и такие нестройные остатки; зиждительная сила пользуется и ими как веществом пригодным, и из того, что лишилось стройности, творит стройное — и все творит, слагает слова, образовывает выражения»; «Выражения в большей части случаев есть связь слов, соединенных в одно целое по требованию мысли и грамматического строя языка, так например: добро пожаловать, век вековать, удалой добрый молодец, красная девица, милостивый государь, по добру по здорову, что за статья, ума палата, ни капли, без сомнения, на худой конец, под спудом и пр.». Следовательно, выражения также требуют научного осмысления. Срезневский в своей статье отмечает ряд отличительных признаков, свойственных выражениям. Прежде всего он указывает на то, что выражения имеют свое особое значение, отличное от смысла сочетаний слов аналогичного состава: «Многие единицы сохраняют одно постоянное значение; многие другие, отходя от своего первого значения, принимают иное, иногда очень отличное от первого, как напр.: умирать со смеху, по ниточке ходить, по ниточке разбирать, биться об заклад, спустя рукава, кровь с молоком, божья коровка, божья травка, райская птичка, английская соль, желтый дом, то ли дело, на перерыв, ни за что и пр.»¹⁰.

Срезневский обращает внимание и на своеобразие формы выражений, а именно на то, что они могут иметь такие формы употребления, которые современной наукой определяются как вариантные, причем одни выражения используются в речи только в единственной форме, другие — в нескольких, ср.: «Многие выражения употребляются в речи всегда без всякой перемены, как напр.: не могу знать, не весть что, куда ни шло, того и гляди, на босую ногу, ни макова зерна, чем свет и пр.; многие другие изменяются по надобности, как напр.: поминать и помянуть лихом, не помяните лихом, кто лихом помянет тому глаз вон <...> чужая сторона, на чужой стороне, за границу ехать, за границей жить и другие». Заметим, что возможность у выражений нескольких вариантных форм, которые в речи могут быть использованы «по надобности», так же отличает устойчивые сочетания от обычных сочетаний слов.

Срезневским предложена и первая классификация устойчивых выражений по грамматическим свойствам: «Выражения могут быть очень различного состава: могут быть глагольные, прилагательные, существительные, числительные, местоименные, беспредложные и предложные. Вот по несколько примеров для некоторых из видов выражений. *Глагольные*: дело делать, воду толочь, с молотка продавать, сидьма (или сиднем) сидеть, челом бить, кишмя кишит, само собой разумеется, раздумье взяло, ни дать ни взять, не весть что, куда ни шло. *Прилагательные*: рад радешенек, день деньской, тьма тьмушая, милый друг, на выдумки тароват, ни жив ни мертв, ни сиво ни буро. *Существительные*: веки веков, хоть разок, ни зги, ни кола ни двора, ни свет ни заря, ни рыба ни мясо. *Числительные*: дважды два, три сотни, обе стороны, ни один ни другой. *Местоименные*: своя воля, наше дело, что за статья, ни то ни се, не свой брат. *Предложные*: без ума, без сомнения, без году

¹⁰ Ср., напр.: «Желтый дом, дом умалишенных (по цвету первоначально построенного для них в Петербурге дома) [29, с. 1110].

неделя, в упор, в припрыжку, на тощак, на худой конец, по доброй воле, под спудом, при людях, при случае, про меж двух огней, про себя, про запас, с радости, с проста ума, не в бровь а в глаз, не под силу, ни за что на свете, ни по чем, не по мне, не к чему, не для чего». Возможность распределения выражений по грамматическим классам также выделяет их из состава сочетаний слов.

Свойства выражений, выделенные Срезневским, служат основанием, с одной стороны, для противопоставления их обычным сочетаниям слов, с другой — для соотнесения и сближения выражений со словом: они так же, как и слова, обладают своим значением, свойственным выражению в целом; так же, как и слова, они могут иметь формы изменения («помянуть и помянуть лихом, не помяните лихом» и т. п.); так же, как и слова, они распределяются по грамматическим классам (частям речи). Целостность и неразложимость значения выражений приводит к тому, что они «чем долее и более употребляются, тем легче стягиваются в одно, будто неразложимое слово или даже теряют свою первоначальную стройность, так что и принимать их нельзя иначе как нераздельные слова»¹¹.

Идея соотносительности лексики и фразеологии языка нашла отражение в словаре М. И. Михельсона (1902—1904) [22]¹². В предисловии к словарю М. И. Михельсон выделяет еще одно значение термина *фразеология*. Под фразеологией в этом смысле понимается совокупность слов и выражений, отличающихся от других единиц словарного состава языка своей иносказательностью: «Существует двойкой способ выражения мыслей: мы определяем понятие или облекаем мысль словами в прямом их смысле, или же иносказательно, обиняками, намеками, сравнениями с подходящими по смыслу образными словами или, даже, целыми изречениями, в виде отдельных фраз, пословичных выражений, поговорок, пословиц и общеизвестных цитат» [там же, т. 1, с. 6]. Под иносказанием, таким образом, М. И. Михельсон понимает обозначение и характеристику объектов внеязыковой действительности путем соотнесения их с другими, уже известными понятиями, предметами и явлениями. Иносказание тесно связано с образностью, так как содержание того или иного понятия часто раскрывается через соотнесение его с конкретным образом. Такие образные обозначения принимаются и используются языковым коллективом, т. е. носят узуальный характер («ходячие» слова и выражения). Они придают речи особую меткость и выразительность. Совокупность именно таких единиц как особых языковых средств выражения экспрессивности представляет собой, в понимании М. И. Михельсона, объект фразеологии как науки, а характеристика формальных, содержательных и

¹¹ Идея взаимосвязи и взаимодействия лексики и фразеологии активно разрабатывается современной наукой, имеются и специальные словари, см.: [3, 15] и др.

¹² М. И. Михельсон не оставил нам цельного и систематического изложения своих взглядов на фразеологию, но изучение материалов самого словаря, а также теоретического введения к нему позволяет с достаточной степенью полноты выявить представления М. И. Михельсона о фразеологической единице, ее формальных и содержательных признаках, о фразеологическом составе языка и путях его формирования, о принципах лексикографической разработки фразеологических материалов и т. д. Установление основных положений фразеологической концепции М. И. Михельсона и практической реализации их в словаре дает возможность определить и его вклад во фразеологическую науку и фразеографию.

других особенностей, определяющих их использование в речи, есть ее предмет: «Такие-то образные слова и пословичные выражения, а также поговорки, пословицы и изречения, свойственные языку народа, с объяснением их смысла и иносказательного применения, — и составляют предмет русской фразеологии» [там же, с. 8].

Иносказательность, то есть употребление слова, словосочетания или выражения в непрямом значении, приводит к ограничению сочетательных возможностей и форм изменения, семантической связанности компонентов, что, в свою очередь, определяет их устойчивость и воспроизводимость, постоянство их формы и значения. Исходя из этого, можно указать на основные признаки ФЕ, выделяемые М. И. Михельсоном, — это иносказательность, образность, меткость и выразительность, экспрессивность, устойчивость и воспроизводимость. Соответственно, во фразеологический состав языка М. И. Михельсон включает (в современном терминологическом обозначении) фразеологические сочетания (*гомерический смех, жгучий вопрос*), крылатые выражения («*Аккуратность — вежливость царей*». «*Ба! Знакомые все лица!*»), клишированные формулы («*Будьте здоровы!*» «*Дай бог лад, любовь да совет!*»), *наложить арест, внести поправку, административным порядком*), сочетания терминологического характера (*апоплексический удар, антонов огонь, адамово яблоко*), описательные обороты-иносказания (*хлебная слеза (водка), легкая конница (блоха), архиерейские сливки (ром к чаю)*), паремии («*Была ба изба нова, а сверчки будут*». «*Без детей горе, а с детьми вдвое*». «*Кашиа — мать наша*»), составные образные наименования — перифразы (*уста Эола, Аврора Златоперстая, утренняя Киприда*) и собственно идиоматику (фразеологические сращения и единства).

Основную группу устойчивых сочетаний, включенных в словарь, составляют идиоматические выражения¹³. Именно эта группа единиц описывается в словаре достаточно полно и последовательно. Примечательно, что М. И. Михельсон для описания идиом избирает такие параметры, которые являются наиболее существенными для характеристики категориального своеобразия этих единиц, — форма ФЕ, их компонентный состав и возможности варьирования; значение ФЕ, семантические связи между значениями отдельной единицы и между единицами, а также валентные отношения ФЕ со словами; лексико-грамматическая характеристика ФЕ, их стилистическая и эмоционально-экспрессивная окраска, а также другие параметры, которые дополняют индивидуальные характеристики ФЕ, в первую очередь историко-этимологические справки и иллюстрации, отражающие диапазон их использования в речи.

Описание в словаре формы ФЕ показывает, что М. И. Михельсон довольно отчетливо представлял своеобразие компонентного состава фразеологизмов и возможности варьирования их компонентов. При этом М. И. Михельсон ясно осознает и тот факт, что постоянство компонентного состава ФЕ не является абсолютным, так как для фразеологизма характерны видоизменение и варьирование компонентов. В словаре достаточно полно отражены все виды вариантности ФЕ: варьирование по составу компонентов (формальные, лексические варианты и факультативные компоненты), а также варьиро-

¹³ Для обозначения идиоматических выражений мы будем пользоваться терминами *фразеологическая единица, фразеологизм*.

вание по структуре. Для всех типов варьирования в словаре последовательно используются одни и те же приемы лексикографического описания: подача вариантов в скобках, через запятую, а также оформление их как разных единиц, если вариантные формы отличаются и оттенками значения.

Толкование значения ФЕ является одним из обязательных параметров описания единицы в словаре. В нем разработаны различные способы лексикографического описания значения ФЕ и использованы разные типы дефиниций, учитывающие индивидуальные особенности значения толкуемого фразеологизма: толкование с помощью описательного оборота, позволяющего максимально полно и точно охарактеризовать значение единицы (**Разбирать по косточкам** (иноск.) входить критически в мельчайшие подробности; **Из пальца высосать** (иноск.) выдумать что-либо, не давая себе большого труда, не имея никаких данных; **Носить на руках** (иноск.) обращаться с ангельской добротой, холить, лелеять), а также оборотами типа «о ком-либо...» или «о чем-либо...» (**Заблудшая овца** (иноск.) о человеке, сошедшем с пути истины; **С мухой** (иноск.) о подвыпившем; **Сердце кровью обливается** (иноск.) о сильном горе; **С неба свалиться** (иноск.) о неожиданном появлении); толкование синонимическим рядом слов или отдельными словами (**Помоями обливать** (иноск.) нещадно ругать, осуждать, чернить, порочить, клеветать; **Грязью бросать** (иноск.) порочить, чернить, клеветать; **Мозгами шевелить** (иноск.) думать, соображать; **За тридевять земель** (далеко); **Висеть на ушке** у кого (иноск.) наушничать; **В муку стереть** (иноск.) уничтожить; **Зубы на полку положить** (иноск.) голодать; **Поперек дороги стать** (иноск.) мешать), а также синонимичными ФЕ (например: **Лансады задавать** (шутл.) стрелка дать (делать скачки); **Не по желудку** (иноск.) не по нутру, не по вкусу; **За спиной** (иноск.) за глаза; **Ни пава ни ворона** (иноск.) ни то ни се).

М. И. Михельсон отчетливо различал ФЕ однозначные и многозначные. Разные значения многозначной ФЕ описываются в словаре в одной словарной статье и отграничиваются друг от друга точкой с запятой, например: **Видать виды** (иноск.) о вещах — изношенное, обтрепанное; о людях — многоопытный, бывалый; **С душком** (иноск.) о человеке — гордый, своевольный, капризный; о деле — не чисто; **Рай земной** (иноск.) красивая, здоровая местность; жизнь счастливая, беззаботная, при полном раздольи — без горя и болезни; **Свихнуть шею** (кому) иноск. — погубить, уничтожить; лишить положения, места.

М. И. Михельсон видел также системные связи между разными ФЕ, в частности возможность вступления ФЕ в синонимические и антонимические отношения. В словаре нет специальных помет, указывающих на синонимы и антонимы, однако особые способы описания этих явлений, применяемые очень последовательно, а также использование специальных отсылочных помет «ср.» и «см.» дают возможность пользователю получить достаточно полное представление об этих системных связях ФЕ.

Особое внимание в словаре уделяется описанию валентных свойств ФЕ. Указание на сочетательные возможности фразеологизма осуществляется с помощью перечня слов, с которыми употребляется единица, когда речь идет о ее лексической сочетаемости (например: **На убой** (напоить, накормить); **Как лунь** (бел, сед); **Вкривь и вкось** (судить); **Не солоно хлебавши** (уйти); **Без дальних слов** действовать; **Живой рукой** обделать; **Не покладая рук** трудиться), или с помощью указательных слов, использующихся для пред-

ставления грамматической сочетаемости идиомы, например: **Бросать в кого-нибудь камень**; **Бросать в пот кого**; **Влезть (к кому) в душу (в сердце)**; **Ему сам черт не брат**; **Жилы тянуть** из кого; **Бросить тень** на кого; **Закрывать глаза** на что; **Взятки (телятки) гладки** (с нас); **Вытянуться в нитку** (для кого); **Вбить (вдолбить) в голову** (кому-нибудь); **Дуть в уши** (кому-нибудь); **Из рук (чьих-либо) смотреть**; **Махнуть (на кого-что) рукой**; **Руку подымать** (на что, на кого); **Сердце не лежит** (к кому, чему) и др. Указание на сочетаемость ФЕ может содержаться и в толковании: **Хоть убей** (иноск.) никак, ни за что (не знаю, не помню, не сделаю и т. д.); **Броситься на шею** (иноск.) навязаться кому, порывисто обнять; **Из под носу** (взять) на глазах — под самым носом у кого (вульг.). Единичная сочетаемость ФЕ отображается путем включения слова окружения в компонентный состав фразеологизма.

Особое внимание М. И. Михельсон уделяет описанию эмоционально-экспрессивной окраски ФЕ. В словаре используется довольно развернутая система помет, отражающая данную сторону ФЕ: «ирон.», «шут.» («шуточн.», «шутл.»), «бранно», «гневно», «корит.», «вульг.», например: **Развесить уши** (иноск. и корит.) заслушиваться («один врёт, другой уши развесил»), зазеваться; **За бока взять** кого (иноск. шутл.) поднять на ноги, заставить действовать, — помочь; **Америку открыть** (иноск. ирон.) выдумать или выдать за новое, что всем давно известно; напрасно искать; **Запеть на девятый глас** (иноск. шутл.) нестройно; **К черту в голенище!** (бранно) пошел вон; **Сучий сын** (бранн.); **Мамаево побоище** (иноск.) ожесточенная драка (шуточн.) разгром; **Презренный металл** (шуточн.) золото, деньги; **На одной ноге стоя** (иноск. ирон.) — об особенном искусстве; и др.

В словаре описывается также и сфера первоначального бытования и распространения ФЕ — указывается либо территория распространения выражения («тульск.», «арх.», «нижегор.» и т. д.), либо социальная группа, в речи которой ФЕ имеет хождение («семинар.», «школьн.», «солдатск.» и т. д.), например: **Андроны едут** (тульск.) важничает!; **Галуны почистить** (иноск. солдатск.) дать по шее, подзатыльника; **На экваторе сидеть** (флотск. иноск.) — без денег.

Таким образом, анализ лексикографического описания идиом в словаре М. И. Михельсона дает достаточно полное и целостное представление о фразеологической концепции автора, тех теоретических принципах и установках, которые были положены в основу описания фразеологического состава русского литературного языка того времени. При разработке словаря М. И. Михельсон учитывал опыт теоретического и лексикографического описания лексико-фразеологических материалов, накопленный его предшественниками. Вместе с тем представление в словаре отдельных параметров ФЕ позволяет нам утверждать, что М. И. Михельсон практически реализовал в своем словаре те представления о ФЕ, которые во фразеологической науке теоретически были сформулированы значительно позднее.

Словарь М. И. Михельсона заслуживает внимания и как опыт лексикографического описания фразеологических выражений. Он является важной вехой в становлении теории и практики фразеографии: разработанные и использованные в нем пути и способы лексикографической разработки фразеологических материалов в целом и отдельных параметров ФЕ в частности были позднее использованы при составлении собственно фразеологических словарей. Не случайно словарь М. И. Михельсона был включен в число лек-

сикографических источников, использованных при составлении «Фразеологического словаря русского языка» под ред. А. И. Молоткова [38] и ряда других словарей устойчивых выражений (подробнее см.: [39]).

Исследование свойств устойчивых сочетаний и характера их соотносительности со словами было продолжено Ф. Ф. Фортунатовым. Оно было направлено на отграничение устойчивых сочетаний, с одной стороны, от других сочетаний слов, с другой — от непростых, сложных слов, разлагающихся на другие слова¹⁴.

«Слитные слова» Ф. Ф. Фортунатов характеризует следующим образом: «Слитное слово есть такое слово, которое разлагается в сознании говорящего на два или несколько слов так, что при этом значение этого сочетания слов отличается от сочетания значений тех же слов; следовательно, слитное слово не разлагается на слова, входящие в его состав, без изменения значения, т. е. слитное слово является одним цельным словом. Например, слово *неприятель* в смысле *враг* есть слитное слово, поскольку для сознания говорящих ясно, что в состав его входят отрицательное частичное слово *не* и слово *приятель*, хотя значение *неприятель* (враг) отличается от сочетания значений отрицания *не* и *приятель*, т. е. *неприятель* в данном значении не разлагается на какие-либо слова без изменения значения и является, следовательно, одним словом» [37, с. 173]. Из состава сочетаний слов Ф. Ф. Фортунатов выделяет «слитные речения»: «В языке, имеющем в словах формы слов как частей словосочетаний, могут существовать такие сочетания слов, которые по значению являются однородными со слитными словами, но которые не принадлежат, однако, к слитным словам потому, что по значению к форме слова, входящего в первую часть такого сочетания слов, они являются не отдельными словами, а словосочетаниями. Например, в русском языке такое сочетание слов, как *железная дорога*, однородно по значению с слитным словом, так как по значению это сочетание слов не разлагается на слова *железная* и *дорога* в их сочетании без изменения значения (мы можем знать значение слов *железная* и *дорога* и тем не менее значение, принадлежащее сочетанию слов *железная дорога*, может оставаться нам неизвестным). Это сочетание слов *железная дорога* не образует, однако, собою одно слово, так как в первой части заключает такое слово, которое по форме словоизменения является само отдельным словом как частью словосочетания (*железную дорогу*, *железной дороги* и т. д.). Такого рода сочетания слов, однородные по значению со слитными словами, но представляющие собою не одно простое слово, а словосочетание, по отношению именно к словоизменению в них первой части, как части словосочетания, мы можем назвать слитными речениями» [там же, с. 173—174].

Учение Ф. Ф. Фортунатова о «слитных речениях» было продолжено А. А. Шахматовым в «Синтаксисе русского языка» [40]. Описывая различные типы словосочетаний, А. А. Шахматов особо выделяет «неразложимые

¹⁴ «Отдельные слова языка по их составу могут быть как словами простыми, вовсе не разлагающимися на другие слова, так и непростыми, сложными в широком смысле этого термина. В словах непростых могут быть различаемы: 1) слова слитные, 2) слова удвоенные, 3) слова грамматически-сложные и 4) слова, называемые мною составными» [37, с. 173].

сочетания»: «Неразложимыми словосочетаниями называем такие словосочетания, которые состоят из двух или нескольких слов, представляющих одно грамматическое целое, но являющихся в такой форме, которая исключает возможность признать их взаимную независимость и не дает также возможности признать которое-нибудь из них самостоятельным членом предложения; таковым является словосочетание в его совокупности» [40, с. 418]. Основным признаком неразложимых словосочетаний, таким образом, является грамматическая несамостоятельность слов-компонентов. При этом А. А. Шахматов обращает внимание и на утрату словом своего самостоятельного значения в составе неразложимых словосочетаний. Так, анализируя синтаксические особенности существительных, он пишет: «Во многих словосочетаниях существительное теряет свое самостоятельное значение, сохраняя за собой только смысл звена в данном словосочетании. Сюда относятся, например, слова, как *бог*; в выражениях *бог с ним*, *бог его знает*, *бог даст* смысл слова *бог* поглощается смыслом всего словосочетания; ср. областное *бознать што* вместо *бог знает что*; также *спасибо* вместо *спаси бог*. Также слово *чорт* как член таких словосочетаний, как *чорт возьми*, *чорт деру* <...> также: *ни чертá* (*ни чертá не видел*; *ни чертá не понимает*), далее *чорт с тобой*. <...> Быть может, такие словосочетания, как *бог с ним* и т. п., *чорт знает* и т. п. надо признать словосочетаниями неразложимыми (неразложимыми синтаксически), ибо, конечно, трудно признать *бог* в *помилуй бог* подлежащим, в виду сокращения *бог* в *бо* в *спасибо*. Впрочем, имеются несомненно градации между полным значением и отмеченною в подобных сочетаниях утратой значения» [там же, с. 458].

Своеобразный итог результатов научных разысканий российских ученых и вместе с тем развитие их идей находим у С. И. Абакумова (см.: [1, 2]). Укажем на наиболее существенные положения, отражающие его взгляд на устойчивые сочетания русского языка. Абакумов разграничивает два типа устойчивых выражений (попутно отметим стремление терминологически закрепить эти типы): «идиоматические выражения» и «устойчивые обороты».

Идиоматические выражения — «это такие сочетания слов, которые воспринимаются как единое целое, несмотря на то, что каждое из них состоит из двух-трех-четырёх этимологических и орфографических единиц» [1, с. 24]. К идиоматическим выражениям он относит сочетания типа *нога в ногу*, *тьма тьмущая*, *ни свет ни заря*, *вдоль и поперек*, *ходить ходуном*, *не видно ни зги*, отмечая при этом, что в составе таких выражений «очень часто оказываются слова, которые отдельно совсем не употребляются, например: *бразды правления* (ст. слав. *бръзды* — вожжи), *ни зги* (из *стыга* — стезя, дорога)». В них также могут быть «необычные для современного литературного языка грамматические формы, например косвенные падежи кратких качественных прилагательных (*по белу свету*, *на босу ногу*), деепричастия на УЧИ, ЮЧИ (*жить припеваючи*), местоимение *сей* (*сию минуту*, *до сих пор*), устарелые слова: *елико* (*елико возможно*), *паче* (*паче чаяния*), *зеница*, *око* (*как зеницу ока*) и т. п.».

С. И. Абакумов указывает и на некоторые общие черты, которые свойственны таким оборотам. Во-первых, «составляющие их слова постепенно теряют в той или иной мере самостоятельную значимость, а целое приобретает значение, не вытекающее непосредственно из смысла

составляющих частей); во-вторых, «каждый из таких устойчивых оборотов речи характеризуется синтаксической и лексической неделимостью, как если бы писалось *сломяголову, зубызаговаривать*»; в-третьих, они неизменяемы, так как «во многих из них нельзя даже переставить слова, например, в таких, как *шутка сказать, пошла писать*; часто не допускаются и словообразовательные изменения: так, в выражении *тянуть за язык* нельзя употребить глагол *вытягивать*, так как «если сказать “вытягивать за язык”, метафорический смысл выражения отпадает, выражение в целом сохраняет только конкретное, буквальное значение, т. е. по существу окажется бессмысленным»; в-четвертых, «громадное большинство таких выражений не поддается буквальному переводу на другие языки» [1, с. 25—26]. Указанные особенности идиоматических выражений закономерно подводят к мысли о том, что они представляют собой не просто «неразложимые словосочетания», а особые образования, которые стоят ближе к слову, чем к словосочетанию: «Кроме отдельных слов, предметом лексикологии также являются и так называемые идиоматические выражения».

От идиоматических выражений С. И. Абакумов отграничивает «устойчивые обороты, которые характеризуются несравненно меньшей степенью утраты самостоятельного значения составляющих их слов и которые нельзя поэтому приравнять к отдельному слову». К ним Абакумов относит языковые штампы, трафареты, шаблоны, готовые словесные клише, которые «механически повторяются в однородных случаях» (весьма благодарен, чем могу служить и т. п.). Такие шаблонные, стереотипные выражения С. И. Абакумов называет «фразеологией» (ср. толкование этого термина В. И. Далем и М. И. Михельсоном, а также этимологическое его значение: «фраза < гр. *phrasis* выражение, оборот речи» [32, с. 661]). Таким образом, С. И. Абакумов четко разграничивает два типа устойчивых сочетаний: идиоматические выражения, которые по своим свойствам соотносимы со словом, и устойчивые выражения, стереотипные, шаблонные выражения, которые используются в определенных речевых ситуациях (ср. так называемое «широкое» и «узкое» понимание фразеологии; в первом случае объектом фразеологии признаются все виды устойчивых и воспроизводимых сочетаний слов, во втором — только идиоматика языка, т. е. то, что впоследствии было определено В. В. Виноградовым как фразеологические сращения и фразеологические единства [12]).

Осознание устойчивых выражений как особых образований в языке, которые, с одной стороны, соотносительны со словосочетаниями, а с другой — со словами, поставило вопрос об их статусе и уровне положения в системе языка. Решение этого вопроса было предложено Е. Д. Поливановым. Во «Введении в языкознание для востоковедных вузов» (1928) он делает небольшой по объему экскурс «К вопросу о делении языкознания на отделы», в котором фразеологии отводится место особой научной дисциплины среди других лингвистических дисциплин. В силу особой значимости процитируем «экскурс» полностью: «В добавление к перечню отделов языкознания (как описательного, так и исторического) можно добавить понятие фразеологии. Нужно указать однако, что разными авторами термину “фразеология” даются различные определения. Я позволю себе употребить этот термин для обозначения особой дисциплины (наряду с фонетикой, морфологией, синтаксисом и лексикой), занимающей по отношению к

лексике то же положение, какое синтаксис занимает по отношению к морфологии. Дело в том, что как морфология так и синтаксис (в отличие от лексики) имеют своим объектом изучения символику общих (абстрактных) идей [формальные значения слов и типов словосочетаний]; лексика же имеет дело с выражением индивидуальных понятий [лексических значений], но по количественному признаку тех величин, которыми оперирует в качестве единиц данная дисциплина, лексика является соизмеримой лишь с морфологией (так как единицей-*maximum* и в лексике и в морфологии служит слово, а единицей-*minimum* — морфема), но не с синтаксисом (оперирующим, в качестве единицы-*maximum*, с словосочетанием или фразой, а в качестве единицы-*minimum* — со словом). И вот возникает потребность в особом отделе, который в данном отношении был бы соизмерим с синтаксисом, но в то же время имел бы в виду не общие типы, а индивидуальные значения данных конкретных словосочетаний — подобно тому как лексика имеет дело с индивидуальными (лексическими) значениями данных слов. Этому отделу языкознания я и уделяю наименование фразеологии (другой, предлагавшийся для этого термин — идиоматика). Необходимо сказать, однако, что несмотря на все теоретические права на существование, фразеология (resp. «идиоматика») не завоевала себе обособленной позиции в литературе по нашей науке, т. е. нет более или менее обширных отделов литературы, посвященных фразеологии (подобно прочим дисциплинам: фонетике, морфологии, синтаксису, лексике); в большинстве случаев есть только известный материал по фразеологии в трудах, трактующих смежные с ней дисциплины (особенно в работах по лексике). Из числа книг, наиболее подходящих под понятие материала по фразеологии можно назвать, например, Михельсон М. И. «Русская мысль и речь» I, II. Вообще этой, теоретически вполне возможной и нужной (особенно в практическом отношении — для преподавания языков) дисциплине авторы лингвистических работ уделяли весьма мало внимания, хотя есть основания думать, что она фактически займет обособленную и устойчивую позицию (подобно фонетике, морфологии и т. д.) в лингвистической литературе будущего — когда в последовательной постановке разнообразных проблем наша наука будет лишена случайных пробелов» [25, с. 75—76]. Обратим внимание на главное в приведенном выше высказывании Е. Д. Поливанова: фразеология языка лишь «соизмерима» с лексическими (словами) и синтаксическими (словосочетаниями и фразами) единицами. Соответственно, фразеология обособляется от лексикологии, которая изучает слово, и от синтаксиса, который изучает закономерности сочетаний слов. Особо отметим, что в небольшом по объему эссе Е. Д. Поливановым был предложен свой вариант решения ряда кардинальных вопросов, которые в острых дискуссиях обсуждались уже во второй половине XX века, а именно вопрос о соотношении фразеологизма со словом и словосочетанием, вопрос об объекте и предмете фразеологической науки, вопрос об уровне положения фразеологии и месте фразеологии среди других научных дисциплин¹⁵.

Подводя итог нашему обзору, укажем на главное: усилиями отечественных языковедов и составителей словарей нескольких поколений к

¹⁵ Заметим также, что идеи Е. Д. Поливанова были развиты в трудах М. М. Копыленко и З. Д. Поповой [18, 19, 20].

началу XX века были подготовлены все условия для становления и развития фразеологии как особой лингвистической дисциплины и фразеографии как особой отрасли лексикографии. Четко сформировалось представление об устойчивых выражениях как особых языковых единицах, которые отличаются от других единиц языка своей формой, содержанием и функциональным назначением, в словарях и сборниках был собран и описан обширный языковой материал, разрабатывались и совершенствовались принципы лексикографического описания фразеологических единиц в словарях различных типов, в том числе и специальных.

Библиографический список

1. *Абакумов С. И.* Современный русский язык. М., 1942.
2. *Абакумов С. И.* Устойчивые сочетания слов // Рус. яз. в шк. 1936. № 1.
3. *Алексеенко М. А., Белоусова Т. П., Литвинникова О. И.* Словарь отфразеологической лексики современного русского языка. М., 2003.
4. *Аишук Н. С., Аишук М. Г.* Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. М., 1955.
5. *Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г.* Большой словарь крылатых слов русского языка. М., 2000.
6. *Биржакова Е. Э.* Описание фразеологического состава русского литературного языка XVIII века в «Словаре Академии Российской» 1789—1794 гг. // Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века. М.; Л., 1965.
7. *Большой толковый словарь русского языка.* СПб., 1998.
8. *Буслаев Ф. И.* Русские пословицы и поговорки: (Дополнение к изданию М. И. Снегирева). М., 1954.
9. *В. И. Даль* в парадигме идей современной науки: язык — словесность — самосознание — культура: В 2 ч. Иваново, 2001.
10. *В. И. Даль* в парадигме идей современной науки: язык — словесность — культура — словари. Иваново, 2004.
11. *В. И. Даль* в парадигме идей современной науки: язык — словесность — лексикография — фразеография. Иваново, 2006.
12. *Виноградов В. В.* Основные понятия фразеологии как лингвистической дисциплины // Виноградов В. В. Лексикология и лексикография: Избр. тр. М., 1977.
13. *Волперский В. П.* Словари XVIII века. М., 1986.
14. *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1863—1866.
15. *Жуков А. В.* Лексико-фразеологический словарь русского языка. М., 2003.
16. *Жуков В. П.* Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1966.
17. *Зимин В. И., Спирин А. С.* Пословицы и поговорки русского народа: Объяснительный словарь. М., 1996.
18. *Копыленко М. М.* Сочетаемость лексем в русском языке. М., 1973.
19. *Копыленко М. М., Попова Э. Д.* Очерки по общей фразеологии: (Проблемы, методы, опыты). Воронеж, 1978.
20. *Копыленко М. М., Попова Э. Д.* Очерки по общей фразеологии: (Фразеосочетания в системе языка). Воронеж, 1989.
21. *Максимов С. В.* Крылатые слова. СПб., 1890.
22. *Михельсон М. И.* Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии: Сб. образных слов и иносказаний: В 2 т. СПб., 1902—1903.
23. *Молотков А. И.* Основы фразеологии русского языка. Л., 1977.
24. *Немченко В. Н.* Основные понятия лексикологии в терминах: Учеб. словарь-справочник. Н. Новгород, 1994.
25. *Поливанов Е. Д.* Введение в языкознание для востоковедных вузов // Поливанов Е. Д. Избр. тр. по восточному и общему языкознанию. М., 1991.

-
-
26. Пословицы русского народа: Сб. В. Даля. М., 1862.
 27. Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII—XX веков. М.; Л., 1961.
 28. Русский язык: Энцикл. / Под ред. Ф. П. Филина. М., 1979.
 29. Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. СПб., 1895. Т. I (А—Д).
 30. *Снегирев И. М.* Русские народные пословицы и притчи. М., 1848.
 31. Современный литературный язык: Учебник / Под ред. П. А. Леканта. М., 1982.
 32. Современный словарь иностранных слов. М., 1993.
 33. *Срезневский И. И.* Замечания об образовании слов из выражений // Записки Императорской Академии наук. СПб., 1873. Т. 22.
 34. Старинные сборники русских пословиц, поговорок и проч. XVIII—XIX столетий / Собрал и подготовил к печати Павел Симоны. СПб., 1899.
 35. *Фелицына В. П., Прохоров Ю. Е.* Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения. М., 1979.
 36. *Фомина М. И.* Современный русский язык. Лексикология: Учебник для ин-тов и ф-тов иностр. яз. М., 1983.
 37. *Фортуатов Ф. Ф.* Сравнительное языковедение: Общий курс // Фортуатов Ф. Ф. Избр. тр.: В 2 т. М., 1956. Т. 1.
 38. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. М., 1967.
 39. *Хуснутдинов А. А.* Фразеологическая концепция М. И. Михельсона: (Опыт реконструкции) // Вестн. Иван. гос. ун-та. Серия «Филология». Иваново, 2003. Вып. 1.
 40. *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. 2-е изд. М., 1941.
-
-

РЕЦЕНЗИИ

T. A. Taganova

Rec. ad op.: Jenkins J. *English as a Lingua Franca: Attitude and Identity*. — Oxford: Oxford University Press, 2007. — 284 p.

The book by Jennifer Jenkins is an excellent and detailed study of the English language today, its development and variety. The book is well-timed as the spread of English as a second language and the language of global communication is quite obvious today. Non-native English speakers use it to communicate both with native speakers and among themselves, which happens even more often now due to the necessity of maintaining friendly and business ties within the world community, so varied in terms of languages and cultures. Students coming to Europe, Asia or America from different countries, businessmen from all over the world coming to an international conference in Singapore — they all communicate in English. But is it “one and the same” English; if not — what are the main differences and what should be considered “the norm”; what has been the impact of English as Lingua Franca (ELF) on the English language recently; what is the “portrait” of a non-native English speaker today — these are the questions that the book is exploring.

The main purpose of the book is to consider rival opinions raised against ELF, not only to show that they are mostly based upon deeply rooted stereotypes but also to prove that ELF has a major impact upon all spheres that imply the language as the means, the tool, the object; this includes language teaching in the first place.

Chapter I sets a question “What is ELF?” As J. Jenkins emphasizes “...a lingua franca is a contact language used among people who do not share a first language, and is commonly understood to mean a second (or subsequent) language of its speakers” [p. 1]. What is then the distinction between the term “ELF” and widely accepted “*English as an International Language*” (EIL)? As the author maintains, some scholars tend to differentiate between the terms to describe ELF as primarily the means of communication among non-native speakers, although EIL does not exclude native speakers. However, J. Jenkins criticizes such an approach, emphasizing that although the terms “ELF”, “EIL”, and even Global English are all used to describe English used for international communication, “ELF” is still more preferable as “it suggests the idea of community as opposed to alienness; it emphasizes that people have something in common rather than their differences; it implies that “mixing” languages is acceptable... and thus that there is nothing inherently wrong in retaining certain characteristics of the L1, such as accent; finally, the Latin name symbolically removes the ownership of English from the Anglos both to no one and, in effect, to everyone” [p. 4].

The author poses an interesting question “How legitimate is ELF?” Indeed, when the majority of the English speakers are non-native speakers today, which errors and peculiarities are considered as “a new norm” and which are learners’ mistakes? J. Jenkins is sure that any development of the language can only be natural and thus must not be “arrested” [p. 17]. Such an approach may sound quite questionable and even controversial as it seems to deny the norm. However the author distinguishes between ELF errors and ELF variants. Analyzing the negative

attitudes towards ELF among linguists, teachers, general public, which the author thinks to be “*misinterpretations*”, the writer proves that they are mostly based on shaky grounds and sociolinguistic naivety. J. Jenkins develops her idea in Chapter 2 criticizing the standard language ideology and anti-ELF attitude in published materials widely used by teachers of English. The author obviously implies that the biased attitude of the native towards non-native speakers is widely accepted in literature, including that of an educational genre, and among general public. The general opinion that native speakers can only be best teachers of English, the “*native-speaker-as-expert*” attitude is considered by the author as a stereotype which is necessary to be reconsidered the sooner the better. “If the whole ELT ideology — textbooks, teacher education, examinations, and the like — is based on NS standard norms, and success or failure depends on conformity to these norms, it is hardly surprising that dissent is rare. So while there needs to be a change in attitude, this is understandably difficult to bring about” [p. 59].

Chapters III and IV are devoted to the research of language attitudes. Professor focuses on the development of language attitudes research since the 1930s. Although there are ELF attitudes studies that deal with all linguistic levels most of them focus basically on pronunciation. The author is also considering teachers’ and learners’ attitudes towards the English language as a scholarly subject noting that both teachers and students often are unaware of the English varieties, believing the native speakers’ “norm” to be the only acceptable one.

In Chapters 5 and 6 the aim of Professor Jenkins is to show how the “prevailing native speaker standard English ideology in ELT and applied linguistics may be affecting NNS teachers’ attitudes, beliefs, and feelings about their own and other NNSs’ English accents, and how this can lead to linguistic insecurity and the kind of ambivalent ELF identities...” [p. 65]. The author emphasized that the generally accepted link between “good” English and native speakers’ one is still strong. At the same time the pejorative attitude towards the non-native English which exists in special literature, is deep-rooted and practically emerges at a subconscious level. Even the teachers of English are reluctant to “dissociate notions of correctness from “nativeness” and to assess intelligibility and acceptability from anything but a NS standpoint;...intuitively they regard “standard” NS English as being more widely understood than other varieties regardless of the context of use” [p. 141]. A thorough study of the native speakers’ vs ELF attitudes, carried out by the linguist and described in Chapter 6 has revealed that despite “the massive shift in the use and users of English over recent decades, many and perhaps the majority of teachers of English in expanding circle countries continue to believe that “proper” English resides in certain of its “ancestral homes”, principally the UK and US” [p. 188].

Chapter 7 focuses on “ELF identity — essentially, how do the participants see themselves vis-à-vis ELF?” [p. 109]. Professor Jenkins comes to the following conclusion: “Whatever “circle” we come from, we all — NSs and NNSs of English — need to think about *why* we make our linguistic choices and what attitudes and beliefs (and myths) inform the identities we accept for ourselves and ascribe to others” [p. 233].

“If ELF were to be established and recognized in this way, it is reasonable to suppose that the majority of English users in the expanding circle would rethink their attitudes and identities, and choose to learn and use this kind of English because it would be to their advantage to do so,” — the author concludes [p. 253].

The book by Professor Jenkins is obviously about stereotypes. All kinds of stereotypes are dangerous as they interfere with the evolution; they distort the

reality thus misinterpreting the facts. Linguistic stereotypes are even more dangerous due to the undeniable fact that they are closely linked to cultures and national identities, which today is a rather delicate issue. The importance of studying the ELF phenomenon is obvious — more than ever we need to admit that not only does the English language influence the world languages, but what is more important, it becomes subjected to various changes and variations being spoken internationally as a second and foreign language, thus experiencing the influence of national languages. So, it is ELF that becomes extremely important in the world being a means of international communication. This book objects to all negative attitudes that have been raised against ELF. The author implies that rashly considering any ELF variant to be incorrect and improper we maintain a controversial and risky tendency of neglecting national identities.

As any interesting work and a thorough research the book by Jennifer Jenkins leaves more questions than answers. The main question is still left unanswered: “How to teach English today, which English to teach, who is a perfect teacher, and what then will be considered a language mistake? How to describe the “new” English language and which text-books and dictionaries to choose as most of them are still aimed at describing and fixing the NSs’ language? If we do deny that NS’s English MUST be the target then we do have to have an alternative. Another problem is still quite evident. Although the theory that ELF should be studied as a language of international communication is interesting and very well-described by the author, most educational systems in the countries that widely include English in the curriculum, are not ready to accept the changes today as ELF has not been describes as a set of rules yet.

In spite of all those questions, there is no doubt that ELF should be carefully studied further. If we speak about changing the attitudes towards ELF we need to be well aware of the phenomenon itself — its roots, status and perspectives. If we want to change the attitude of the educators and learners towards ELF we need to show them that ELF has its future and practical implication. Until we are not sure that it does, ELF will still be considered as secondary towards the native speakers’ English.

Ф. Ф. Фархутдинова

О ФРАЗЕОЛОГИИ ПО-НОВОМУ

Рец. на кн.: Фокина М. А. Фразеология в русской повествовательной прозе XIX—XX веков. — Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2007. — 378 с.

Не одно десятилетие флагманы отечественной лингвистики настоятельно призывали лингвистов уйти от описания языка «в себе самом и для себя самого» и начать его изучение с позиций антропоцентризма [*Караулов 1976, Телия 1996; и др.*]. Призывы возымели действие, и с недавних пор с невероятной быстротой растет число работ, в частности диссертационных, где утверждается, что они выполнены в рамках антропоцентрической лингвистики. При этом подобные заявления-самохарактеристики зачастую не

подкреплены методологически: в основе своей работы остаются лингвоцентрическими (что само по себе и не плохо!), хотя и включают «точечно» терминологию новой научной парадигмы.

Напротив, монография Мадины Александровны Фокиной «Фразеология в русской повествовательной прозе XIX—XX веков», судя по ее названию, могла быть именно лингвоцентрическим исследованием, цель которого — охарактеризовать разные функции устойчивых оборотов в повествовательном дискурсе. Однако вопреки «лингвоцентрическому» названию рецензируемая книга демонстрирует собой один из возможных путей антропоцентрического анализа художественного текста (ХТ), поскольку автор рассматривает, как человек использует языковые единицы (фразеологизмы) для организации художественного текста (антропоцентрический подход), а также то, каким образом через устойчивые обороты ХТ осуществляются разного рода межтекстовые связи — интертекстуальные, метатекстовые, интермедийные и другие (лингвоцентрический подход). В результате совмещения обоих подходов М. А. Фокина установила, что в системе языковых средств художественного текста фразеологизмы играют очень важную роль, активно участвуя и в создании образа автора, и в формировании идиостиля писателя, и в трансляции черт языковой личности, позволяя выявить «общие и индивидуальные приемы использования фразеологических образов в русской прозе XIX—XX веков» (с. 10).

Означенные подходы к описанию фразеологии определены объектом исследования — разножанровыми прозаическими текстами русских писателей-классиков (И. Гончарова, И. Тургенева, Н. Лескова, Л. Толстого, А. Ремизова, И. Бунина, И. Шмелева, В. Шишкова, В. Набокова); не столь известных писателей, как П. В. Засодимский и П. Романов, чьи имена стали знакомы широкому кругу читателей сравнительно недавно, а сами произведения на сегодняшний день еще недостаточно изучены в отечественной фразеологии. Широко привлекаются к анализу и художественные тексты современных писателей: романы В. Максимова и рассказы Р. Киреева. Предмет анализа — функции фразеологических единиц в художественном тексте.

Опираясь на современные научные достижения в изучении художественного текста, М. А. Фокина предложила оригинальную методику филологического анализа, с помощью которой она выявила и описала различные функции фразеологизмов в художественном тексте. На основе своей методики исследовательница пришла к выводу о том, что глобальной функцией устойчивых оборотов в повествовательном дискурсе является *стилеобразующая функция*, которая реализуется через взаимодействие соподчиненных функций жанро-, тексто- и концептообразования.

В рецензируемом исследовании убедительно показано, что *стилеобразующая функция* носит интегративный характер, отражает на фразеологическом уровне текста своеобразие идиостиля конкретного писателя. *Жанрообразующая функция* проявляется в том, что фразеологизмы участвуют в формировании жанровой структуры текста, его сюжетопостроении, становясь активным средством создания пространственно-временных характеристик повествования. *Текстообразующая функция* устойчивых оборотов обеспечивает структурно-смысловую целостность литературного нарратива, его композиционно-содержательное единство. *Концептообразующая функция* заключается в том, что фразеологические единицы создают концептосферы

художественного текста, нередко становятся именами индивидуально-авторских концептов.

Использованная М. А. Фокиной методика анализа фразеологизмов позволила доказать, что фразеологизмы играют одну из главенствующих ролей в системе языковых средств, организующих повествовательный дискурс.

Логика проводимого М. А. Фокиной исследования фразеологии в русской повествовательной прозе XIX—XX веков отражена в структуре работы. Рецензируемая монография состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка, приложения. Последовательность же анализа фразеологизмов определяется жанровой спецификой художественного повествования, которому свойственно развитие событий в пространстве и времени. Этим, с точки зрения исследовательницы, объясняется такая языковая особенность литературного нарратива, как использование фразеологии с процессуальной и пространственно-временной семантикой типа *куда глаза глядят; обетованная земля; на край света; мыкаться (блуждать) по свету; замкнутый круг, круг замкнулся* и др. Подобные устойчивые обороты создают к тому же межтекстовые повторы и сквозные образы русской прозы.

Глава I **«Роль фразеологии в пространственно-временной организации художественного текста»** содержит сравнительное описание фразеологических средств создания разных типов хронотопа: *архетипического, социально-исторического, философско-психологического*. В повести П. В. Засодимского «Темные силы» (1870) и в романе А. М. Ремизова «Пруд» (1912) рассматривается архетипический хронотоп. Его особенностью является преобладание образов, мотивов, сюжетных структур, восходящих к первичным дискурсам: народно-поэтическому, мифологическому, религиозному. Ключевые фразеологизмы представляют собой мифологемы, выражающие архетипические мотивы. В повести П. Засодимского широко используются фольклорные образы молочных рек и кисельных берегов, избушки на курьих ножках и т. д.: *где реки текут молоком и медом, а берега у тех рек кисельные; живая и мертвая водица; по щучьему веленью, по Степкиному прошенью; избушка на курьих ножках*. А. Ремизов же активнее обращается к библейской и славянской мифологии, древнерусским и церковно-религиозным текстам: *хождение по мукам; обетованная земля; мать-сыра земля; тот свет; огненная река*. Фразеология в повести Засодимского и в романе Ремизова создает хронотоп провинциального города, который в аллегорической форме символизирует всю Россию.

Фразеологические средства создания социально-исторического хронотопа М. А. Фокина анализирует на материале романов М. Осоргина «Сивцев Вражек» (1928) и В. Максимова «Заглянуть в бездну» (1986). Писатели изображают революционные события 1917 года и последующие социальные потрясения. В анализируемых произведениях создаются межтекстовые повторы: *смутное время* (Осоргин) — *время Смуты Смут* (Максимов). Смысловой доминантой романа М. Осоргина является образ Дома, поэтому в его произведении преимущественно создаются развернутые метафоры с пространственной семантикой: *распавшийся картонный домик; потряс колонны и обрушил на себя им самим созданный храм*. В. Максимов чаще всего творчески переосмысливает библейские образы и мотивы, создающие и пространственный, и временной планы повествования: *среди огня и крови вели-*

кого потопа; в общем и никем не управляемом столпотворении; в коммунальном московском ковчеге.

Философско-психологический хронотоп представлен в романах И. Бунина «Жизнь Арсеньева» (1933) и в романе А. Мариенгофа «Циники» (1928), являющихся художественным нарративом от первого лица, что создает субъективизм повествования. Фразеологические единицы, обладающие процессуальной семантикой, характеризуют особенности психо-эмоционального состояния героев, передают динамику их чувств и состояний: *голова шла кругом; из себя выходил; зубы стискивал; охватывал страх* (Бунин); *потерял сон; ударить в вполосинные колокола; плевать в глаза; трясутся колени* (Мариенгоф). Подобные фразеологизмы передают противоречивое внутреннее пространство персонажей, приобретая дополнительные текстовые смыслы.

Вывод, который делает М. А. Фокина в ходе анализа фразеологизмов в первой главе монографии, представляется убедительным: общей особенностью всех хронотопов, анализируемых в главе, является обращение писателей к архетипам мировой культуры, а это ведет к формированию концептуальной структуры нарратива, в котором отражаются культурно-языковые и идейно-эстетические традиции русской классической литературы.

В главе II «**Фразеологические единицы в повествовательной структуре художественного текста**» исследовательница рассматривает роль устойчивых оборотов в субъектно-речевой организации литературного нарратива и выявляет особенности использования фразеологизмов в текстах разных типов повествования.

В повестях И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850) и П. В. Засодимского «Темные силы» (1870) исследовательница анализирует фразеологические средства субъективации/объективации повествования в нарративе от первого и третьего лица, а также рассматривает имплицитные и эксплицитные способы выражения авторской позиции с помощью фразеологизмов.

Далее на материале произведений XX века (рассказ Р. Киреева «Лунные моря в камышах и с водою» (1991) М. А. Фокина прослеживает своеобразие фразеологии в нетрадиционном нарративе и характеризует роль устойчивых оборотов в создании сказового повествования. Специфика использования фразеологизмов в нетрадиционном нарративе обусловлена динамикой литературного процесса. Если в русской прозе XIX века литературная коммуникация шире представлена на фразеологическом уровне текста в сферах *рассказчик — читатель, автор — читатель*, что усиливает аналитизм повествования, то в произведениях XX века преобладает взаимодействие речевых планов рассказчика и сказителя, автора и персонажа, что способствует субъективации нарратива.

На конкретных примерах анализа фразеологических конфигураций в рассказе Н. С. Лескова «Павлин» (1874) и в романе Б. Зайцева «Дальний край» (1912) показана сюжетобразующая роль устойчивых оборотов. Эта роль проявляется в том, что в составе текстовых парадигм, представляющих панораму событий и эксплицирующих смысловую структуру повествования, осуществляются перспективно-ретроспективные взаимодействия лексико-фразеологических компонентов. М. А. Фокина показала, как фразеологизмы организуют повествование в пределах целого текста и в отдельных эпизодах,

являющихся ключевыми фрагментами развития действия, стержневыми составляющими сюжетных линий. Например, в русской художественной прозе мотив жизненного пути выражен фразеологическими единицами *вступить на путь; указать настоящий путь; вывести на большую дорогу; идти по истинному, прямому пути* и др.

В главе III «**Фразеологические единицы в концептуальной структуре художественного текста**» автор монографии определил особенности создания текстовых концептуальных полей средствами фразеологии, хронологически проследив формирование фразеологических серий, значимых в репрезентации концептуального содержания текста, а также попытался выявить национально-культурную специфику устойчивых оборотов.

В этой главе интересно представлены — в плане сопоставления — индивидуально-авторские ключевые метафоры, основанные на фразеологических образах и ставшие названиями произведений: *неумный бубен (бесструнная балалайка)* — в повести А. Ремизова; *старый гений (старый волк + добрый гений)* — в рассказе Н. Лескова; *без черемухи (без божества, без вдохновенья)* — в рассказе П. Романова.

Следующий этап анализа — последовательное рассмотрение сквозных метафорических образов русской прозы, созданных на базе одной продуктивной фразеомодели: *деревянная жизнь* — в романе И. Гончарова «Обыкновенная история»; *свиная жизнь* — в повести Л. Толстого «Крейцера соната»; *бесплатная жизнь* — в романе А. Ремизова «Пруд». Межтекстовая фразеологическая серия характеризуется интегральными и дифференциальными семантическими признаками, которые обусловлены особенностями мировоззренческих позиций писателя, идейным замыслом произведения, сюжетно-тематическим своеобразием текста, культурно-языковой ситуацией эпохи, спецификой языковой личности каждого из художников слова.

В главе IV «**Фразеологические единицы как средство создания интертекстуальных связей художественного текста**» анализируется роль фразеологизмов-интертекстов в структурно-смысловой организации повествования, характеризуются фразеологические средства создания метатекстовых связей художественного текста и интермедийных связей произведений искусства.

В повествовательных текстах русской прозы широко представлены различные виды интертекстуальных взаимодействий: связи претекста (Библия) с вторичным текстом (романы В. Максимова «Заглянуть в бездну», «Ковчег для незванных»); связи повествовательного прототекста (повесть С. Юшкевича «Вышла из круга») с его литературно-критической интерпретацией (статья В. Воровского «В кругу и вне круга»); связи художественного текста (И. Шмелев, В. Брюсов, В. Гаршин, В. Набоков) с живописью (А. Рублев, Н. Ярошенко, И. Репин) и музыкой (Моцарт).

Общая особенность языка многих писателей — индивидуально-авторские преобразования фразеологических единиц, создающие интертекстуальные взаимодействия за счет расширения компонентного состава оборота: *гнать из храма божьего сквальжную братию* (В. Максимов); *картина, писанная не кистью и красками, а нервами и кровью* (В. Гаршин) и др.

В монографии М. А. Фокиной находим и описание ведущих способов создания авторской позиции средствами фразеологии. Одним из самых ха-

рактрных и последовательно представленных в русской прозе являются сентенции, созданные по моделям устойчивых фраз. Семантический ряд нравоучительных изречений отражает индивидуально-авторские и универсально-типологические представления о традиционной аксиологической диаде *жизнь — смерть*: *В виду смерти исчезают последние земные суетности* (И. Тургенев); *Жизнь несет на своих плечах смерть, а смерть тащит за собой бессмертие* (А. Мариенгоф); *Все на свете крутится, все на свете изменяется: из жизни смерть, из смерти жизнь* (В. Шишков) и др. Смысловая антиномия *жизнь — смерть*, восходящая к архетипам культуры, не только характеризует диалектику бытия, но и создает сквозные образы мировой литературы.

Последовательное осуществление системного подхода к изучению нарративных признаков, когнитивных и коммуникативно-прагматических свойств фразеологии в повествовательном дискурсе свидетельствует об актуальности, новизне и научных перспективах представленного исследования.

В книге М. А. Фокиной фразеологические единицы рассматриваются на всех уровнях литературной коммуникации: на внешнетекстовом в сфере *автор — читатель*; на внутритекстовом в сферах *повествователь — персонаж*, *персонаж — персонаж*; на интертекстуальном в сфере *автор 1* (создатель претекста) — *автор 2*, использующий компоненты содержательной структуры чужого текста. Одновременно исследовательница определяет роль фразеологизмов в создании повествовательной полифонии, являющейся конститутивным признаком литературного нарратива, в пределах которого осуществляется внутренняя диалогизация художественного текста как авторского монолога.

Конечно же, столь многоаспектное исследование не могло вырасти на пустом месте: данная работа, выполненная в рамках исследовательского проекта, поддержанного грантом РГНФ № 06-04-00135а, является одним из итогов многолетней деятельности Костромской фразеологической школы, возглавляемой доктором филологических наук, профессором А. М. Мелерович. Может быть, именно этим — принадлежностью к школе — объясняется неполная характеристика терминологического аппарата работы. Так, термины *фразеонабор*, *фразеологический повтор*, *фразеологический ряд*, *лексико-фразеологический ряд*, *доминантный фразеологизм*, характерные для исследований названной школы, вводятся в текст монографии без всякого комментария, что усложняет процесс чтения книги. Следует отметить при этом такой недостаток монографии, как повторы и длинноты, появление которых предопределено авторской методикой анализа: читателю представляется пространный фрагмент художественного текста, затем он комментируется под тем или иным углом зрения, далее он разбивается на более дробные фрагменты, которые вновь комментируются и т. д. С одной стороны, такая подача материала показывает методику анализа, убеждает в справедливости сделанных выводов, но, с другой стороны, «растягивает» описание. При этом нередки случаи, когда в разных главах анализируется один и тот же фрагмент текста (например, П. Засодимский «Темные силы» — глава I и глава II). Думается, что следовало продумать и полиграфическое исполнение монографии, в первую очередь — дифференцировать шрифты основного (исследовательского) текста и анализируемых фрагментов из художественных текстов. Малоинформативным является и приложение «Функции фразеологических единиц в рус-

ской художественной прозе XIX — XX вв.» (с. 377), требующее определенного комментария. Однако это лишь внешние недочеты монографии, объясняемые тем, что издание осуществлено в авторской редакции.

Книга — результат многолетнего исследования по фразеологии, написанного на огромном фактическом материале и выполненного по-новому, в русле тех тенденций, которые существуют в современной отечественной науке. Именно поэтому можем предположить, что научная монография Маддины Александровны Фокиной «Фразеология в русской повествовательной прозе XIX — XX веков» вызовет несомненный интерес ученых-филологов, специалистов в области современной фразеологии и фразеологии, лингвистики текста, теории художественной речи, а также студентов и аспирантов.

Библиографический список

- Телия В. Н.* Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
- Караулов Ю. Н.* Общая и русская идеография. М.: Наука, 1976.

ХРОНИКА

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР «СОВРЕМЕННАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Двенадцать лет успешной и эффективной работы международной лексикографической школы-семинара в г. Иваново подтверждают известное высказывание о том, что в науке нет провинции. Идея о проведении подобной конференции, зародившись на конгрессе Европейской ассоциации лексикографов (ЕВРАЛЕКС) в 1992 году в г. Тампере, была успешно реализована в Иваново в 1995 году. Такие школы-семинары стали проводиться между конгрессами ЕВРАЛЕКСа каждые два года на базе Ивановского государственного университета.

Форма, избранная организаторами школы-семинара, как нельзя лучше отражает идеи преемственности, передачи опыта, творческих споров и плодотворного обмена информацией, свойственные научному сообществу. В таком формате начинающие ученые могут не только доложить о собственных научных изысканиях, но и услышать ведущих зарубежных ученых, познакомиться с известными лексикографами России. Особую атмосферу живого участия придает школе-семинару присутствие на пленарных заседаниях и секциях конференции студентов университета, впервые знакомящихся с научными сообщениями такого уровня. Атмосфера активного непосредственного участия создается проведением мероприятия в форме научной дискуссии, круглого стола, вопросной сессии. Именно это привлекает к работе в школе-семинаре большое количество и крупных ученых, и начинающих исследователей со всего мира.

В течение последних 12 лет было организовано 7 конференций, в которых принимали участие более 700 человек. За эти годы приглашенными учеными школы-семинара были Р. Р. К. Хартман (Великобритания), К. Варантола (Финляндия), Р. Ватведт Фьельд (Норвегия), К. Хейсли (США), С. Г. Тер-Минасова (Россия), Б. Тофт (Дания), Д. О. Добровольский (Россия), Г. Пихт (Германия), Дж. Де Сезарис (Испания), Дж. Иамартино (Италия), Кр. Лорен (Швеция). Секции и семинары возглавлялись видными российскими учеными К. Я. Авербухом, М. В. Вербицкой, М. Р. Кауль, В. Ф. Новодрановой (Москва), Т. П. Третьяковой, С. В. Ворониным, О. И. Бродович, А. Ю. Масленниковой (Санкт-Петербург), О. М. Карповой (Иваново) и др.

В 2005 году на десятилетний юбилей конференции прислал поздравление доктор Р. Р. К. Хартман, крупнейший лексикограф, основатель ЕВРАЛЕКСа, автор фундаментальных трудов в области лексикографии, почетный профессор Бирмингемского университета. В приветствии он отметил, что стоял у истоков этой конференции, открывал ее работу в 1995 году.

В 2007 году конференцию приветствовала президент Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ), декан факультета иностранных языков и регионоведения МГУ, профессор С. Г. Тер-Минасова, она подчеркнула весомый вклад Ивановской лексикографической школы в современную лингвистику.

В 2007 году VII Международная школа-семинар прошла под названием «Современная лексикография: глобальные проблемы и национальные решения». На конференцию приехали ученые из 12 стран мира, 27 городов России и стран ближнего зарубежья. В ней участвовали 38 докторов наук, более 60 кандидатов наук, аспиранты и студенты вузов.

На торжественном открытии школы-семинара с приветствиями выступили ректор ИвГУ, профессор В. Н. Егоров, председатель программного комитета, проректор ИвГУ по связям с общественностью, заведующая кафедрой английской филологии, профессор О. М. Карпова, профессор кафедры английской филологии РГСУ К. Я. Авербух, представители Правительства Ивановской области и администрации Иванова.

Гостями и участниками конференции стали известные зарубежные и отечественные лингвисты и лексикографы (Дж. Де Сезарис, Дж. Иамартино, Кр. Лорен, И. Вехмас-Лехто, Л. Пиенаар, Т. Бьорнсет, С. Соренсен, М. Братанич, М. Милич, П. Новаков, К. Миоши, Т. П. Третьякова, В. Ф. Новодранова, О. А. Леонтович, М. С. Колесникова, М. Р. Кауль, А. М. Мелерович, Л. М. Алексеева, К. Я. Авербух, Д. О. Добровольский, М. В. Вербицкая и др.) из ведущих вузов России (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Владимир, Кострома, Новосибирск, Самара, Тюмень, Пермь, Новый Уренгой, Казань, Екатеринбург, Саратов, Архангельск, Брянск, Воронеж, Киров, Саранск, Волгоград, Альметьевск, Иваново), Европы (Испания, Италия, Финляндия, Норвегия, Франция, Сербия, Хорватия), Японии, ЮАР, а также другие российские специалисты, лингвисты-практики, начинающие ученые. Посольство США в Москве уже не в первый раз предоставило грант на проведение школы-семинара.

Проблемы, затронутые на конференции, свидетельствуют о ее значимости и своевременности: рассматривалась роль словаря в лингвокультурном пространстве, обсуждались проекты новых словарей, анализировались интернациональные черты лексикографии, рассматривались общие и частные проблемы исторической лексикографии, фонетические аспекты в лексикографии, проблемы, связанные с лексикографической картиной английского, испанского, итальянского, французского, немецкого и других языков, а также современные тенденции в лексикографии и терминографии, вызвали большой интерес вопросы жестовой лексикографии.

В рамках школы-семинара работали 6 секций и 2 круглых стола, а именно: «Словарь в лингвокультурном пространстве», «Проекты новых словарей», «Терминоведение и LSP: теоретические достижения и практическая экспансия», «Актуальные проблемы общей и жестовой лексикографии», «Интернациональные черты национальных лексикографий», «Общие и частные проблемы исторической лексикографии», «Когнитивное терминоведение и терминография», «Фонетические аспекты лексикографии».

Характерной чертой конференции являлся живой и заинтересованный обмен практическим новаторским, теоретическим опытом по важнейшим проблемам современной лексикографии, терминоведения, лингвистики в целом.

Большой интерес вызвали выступления приглашенных ученых: лекции профессора Дж. Де Сезариса, в которых рассматривались общие и частные проблемы испанской лексикографии, отражение фразеологии в двуязычных словарях, грамматики в учебных словарях, доклады профессора Дж. Иамартино, посвященные таким разным аспектам лексикографии, как история лексикографии на примере словаря С. Джонсона и новейшие тенден-

ции в итальянской лексикографии, сообщение профессора И. Вехмас-Лехто о терминологической работе в Финляндии, сделанное на русском языке, доклад профессора Кр. Лорена, рассматривающего употребление терминологии в повседневном общении.

На пленарном заседании был заслушан доклад профессора Д. О. Добровольского (Москва) о выходе первого тома «Нового большого немецко-русского словаря», одним из составителей которого он является. Многочисленные яркие примеры, иллюстрирующие макро- и микроструктуру словаря, вызвали большой интерес у аудитории.

Оригинальный и весьма информативный доклад, посвященный теории идиоматики И. Е. Аничкова и современным двуязычным словарям идиом, представила профессор Т. П. Третьякова (Санкт-Петербург). В своем докладе она подчеркнула, что дескриптивная идиоматика тесно связана с проблемами обучения иностранному языку, а следовательно, и с составлением двуязычных словарей идиом.

Говоря о новых тенденциях в лексикографии, профессор О. М. Карпова (Иваново) подчеркнула, что современные словари трансформировались от прескриптивных в регистрирующие, которые фиксируют широкий лексический слой, ранее оставляемый вне рамок словаря. Осуществилась мечта многих лексикографов, в частности В. Даля, о включении живого языка в словари.

Хочется отметить коллективную презентацию словарей издательства HarperCollins, подготовленную О. М. Карповой и ее учениками. Были продемонстрированы и проанализированы различные словари, включая серию учебных словарей различных языков, Easy Learning, American English, Большого учебного словаря английского языка. Ценность данного доклада заключается в качественном анализе продукции этого авторитетного издательства, представленных инноваций и преимуществ, предлагаемых авторами словарей.

Самое большое количество докладов было заслушано на секции «Терминоведение и LSP: теоретические достижения и практическая экспансия», а также на круглом столе «Когнитивное терминоведение и терминография». Здесь обсуждались особенности работы с экспертами-предметниками в терминологических словарях, проекты, терминоведение и терминологическая работа в Финляндии, критерии составления толковых и терминологических словарей, многоязычные базы данных в терминологии и терминографии, категориальная модель терминосистемы в лексикографическом описании терминологии, лингвистические модели и двуязычные глоссарии лингвистической терминологии и т. д.

Особый интерес вызвали сообщения ряда участников конференции. Это доклады М. В. Вербицкой о развитии навыка пользования словарем, К. Я. Авербуха о совершенствовании коммуникации в социальной среде, Г. Е. Крейдлина о лексикографии жестов и их номинации, О. А. Леонтович о культурных значениях и смыслах в их лексикографическом аспекте, Л. Пиенаар о лексикографировании южно-африканского английского. Запомнился аудитории и мастер-класс Д. О. Добровольского под названием «О том, как делается современный Большой двуязычный словарь».

Сборник трудов школы-семинара 2007 года под названием «Современная лексикография: глобальные проблемы и национальные решения» дает возможность ознакомиться с теоретическими и практическими положениями лекций, докладов и сообщений.

Общая направленность Ивановских школ-семинаров тесно связана с современными тенденциями развития теоретической лексикографии и в то же время дает возможность всем интересующимся ознакомиться с достижениями и наработками в таких областях, как учебная лексикография, LSP-лексикография, страноведческая и культурологическая лексикография, писательская лексикография (см. страницу в Интернете: <http://www.ivanovo.ac.ru/win125/protect/Karpova.htm>).

Успешная и плодотворная работа школ-семинаров едва ли была бы возможна без бессменного председателя ее оргкомитета О. М. Карповой. Являясь членом ЕВРАЛЕКСа, общества исторической лексикографии Великобритании, руководителем секции лексикологии и лексикографии НОПриЛ, О. М. Карпова имела возможность наладить научные контакты и завоевать заслуженный авторитет в среде мировой лингвистической общественности. Автор более двухсот научных работ, изданных в России, Украине, Белоруссии, Великобритании, Финляндии, Норвегии, Испании и других странах, она использовала свои научные контакты для развития деятельности семинара. Ее 8 монографий отражают многосторонние интересы ученого.

Двенадцать лет работы свидетельствуют о том, что Ивановская школа во главе с профессором О. М. Карповой стала международным лексикографическим научным центром обмена профессиональными знаниями, накопленным опытом и творческими идеями.

О. А. Ужова
доцент кафедры английской филологии

ДНИ РОССИЙСКО-НЕМЕЦКОЙ ДРУЖБЫ — 2007 В ИВАНОВЕ

Доброй традицией стало проведение в Иванове Дней российско-немецкой дружбы, которые в конце минувшего года состоялись в нашем городе уже в тринадцатый раз. Их организаторами стали Ивановское областное отделение Российского фонда мира, Ивановское областное общество друзей Германии, департамент образования Ивановской области, кафедра немецкой филологии факультета РГФ ИвГУ, Общество друзей г. Иванова (Мюнстерланд, ФРГ).

В течение трёх месяцев (с 1 октября по 27 декабря минувшего года) члены жюри — преподаватели кафедры немецкой филологии Ивановского государственного университета — оценивали выступления ребят на конкурсах чтецов немецкой поэзии, театральных миниатюр, исполнителей песен на немецком языке, иллюстраций к произведениям немецкой литературы, рекламных проектов, мультимедийных презентаций, сочинений на тему «Мой интернациональный город Иваново», проводили миниолимпиаду по немецкому языку для учащихся 7—9-х и 10—11-х классов, что, несомненно, свидетельствует о масштабности и многоплановости этого мероприятия.

Как отметили члены жюри, школьники тщательно подготовились к данным конкурсам, а само участие в них доставляло ребятам большое удовольствие. Самыми активными участниками конкурсов были учащиеся школ-гимназий № 23 и 32, школ № 65, 20, 61, 17.

Особо хотелось бы отметить тот факт, что впервые в конкурсе принимали участие учащиеся сельских и районных школ нашей области (Пустошенская средняя школа Шуйского района, Вознесенская средняя школа Савинского района, Лежневская средняя школа № 10). Кстати, в конкурсе театральных миниатюр члены жюри единодушно присудили первое место учащимся 5—6-х классов Пустошенской средней школы Шуйского района за кукольный спектакль «Заюшкина избушка», а в конкурсе мультимедийных проектов одним из лучших был признан проект «Моя малая родина», представленный учащимися Лежневской средней школы № 10.

Участники конкурсов, занявшие призовые места, получили «Сертификат участника Дней российско-немецкой дружбы — 2007, остальным были вручены благодарственные письма, и, конечно же, все участники конкурсов получили призы. Благодарственные письма и грамоты были вручены также учителям, приложившим немало усилий при подготовке детей к участию в этих мероприятиях.

Параллельно со школьными конкурсами в эфире «Радио России — Иваново» проводился радиоконкурс «Встречи с Германией», в котором могли принимать участие не только школьники, но и студенты неязыковых специальностей вузов Ивановской области. Об этом конкурсе хотелось бы сказать особо, так как в нем самое активное участие принимала немецкая сторона. Так, в каждом туре (а их было три) один из вопросов задавался пастором Дитером Шторком, председателем Общества друзей г. Иванова (Мюнстерланд, ФРГ). Вопросы касались культуры, истории, географии, литературы Германии, а в последнем туре Д. Шторк предложил участникам радиоконкурса написать креативное письмо на немецком языке на тему: «Почему на Земле существует голод и как его победить?»

Впервые лучшие работы 3-го тура радиоконкурса были отправлены нашим коллегам в Германию. Вот то впечатление, которое произвели эти работы на пастора Д. Шторка: «Я, можно сказать, практически “проглотил” эти сочинения. Каждая работа оригинальна, у каждой своё лицо, и в каждой работе акценты расставлены по-разному. Особенно важно, что в своих сочинениях ивановская молодёжь предлагает свои пути решения этой социальной несправедливости». Д. Шторк и его коллеги высоко оценили тот факт, что наша молодёжь обладает столь высоким чувством справедливости, и полагают, что эти работы непременно должны получить известность в Германии, а в будущем стать предметом дискуссии молодёжи обеих стран. Надо было видеть, как светились радостью лица ребят, чьи работы были признаны лучшими. А выбрать их было ох как нелегко!

Большинство работ, присланных на радиоконкурс (а всего поступило более 100 работ), отличались, по мнению жюри, глубиной содержания, творческим подходом, отличным оформлением.

Для победителей всех трёх туров конкурса немецкой стороной учреждён Гран-при — поездка в Германию в составе молодёжной делегации летом 2008 года.

В этом году обладателями главного приза стали пятеро участников радиоконкурса.

1-е место — Александр Воронин, студент 1 курса ИГХТУ.

2 место — Анастасия Дрваль, ученица 10 класса гимназии им. А. Н. Островского г. Кинешмы.

3-е место — Евгения Жерехова, ученица 10 класса школы № 15 г. Кинешмы и Анастасия Козлова, ученица 10 класса школы № 65 г. Иванова.

4-е место — Дарья Куликова, ученица 9 класса школы № 15 г. Кинешмы.

Торжественное закрытие Дней российско-немецкой дружбы — 2007 и награждение победителей состоялось 25 декабря минувшего года в интердоме им. Стасовой, завершившись великолепным концертом, в котором выступили не только участники конкурсов, но и воспитанники интердома.

Кафедра немецкой филологии провела также круглый стол с учителями немецкого языка школ г. Иванова и области, где обсуждались проблемы, связанные с преподаванием немецкого языка в школе. Кроме того, преподаватели кафедры ещё раз выразили искреннюю благодарность учителям за подготовку детей к такому крупномасштабному, многоплановому мероприятию.

В заключение хотелось бы отметить, что проведение Дней российско-немецкой дружбы — 2007 показало растущий интерес к немецкому языку, к истории и культуре Германии в нашем городе и области. Хочется надеяться, что среди участников этого многопланового мероприятия были и те, кто в будущем станут студентами немецкого отделения факультета романо-германской филологии нашего университета.

Г. Е. Красикова,
доцент кафедры немецкой филологии ИвГУ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АНЦЫФЕРОВА Ольга Юрьевна	доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой зарубежной литературы
БАБАЕВА Раиса Ивановна	кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии
ВАНСЯЦКАЯ Елена Александровна	кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой английского языка
ДЕНИСОВ Константин Михайлович	кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии
ЕРМОЛАЕВА Нина Леонидовна	кандидат филологических наук, доцент кафедры русской словесности и культурологии
КОКУРИНА Инна Владимировна	кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии
КОМАРОВА Екатерина Александровна	кандидат филологических наук, доцент кафедры романской филологии и латинского языка
ЛАКЕРБАЙ Дмитрий Леонидович	кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и рекламы
СИНОХИНА Ирина Викторовна	кандидат филологических наук, доцент кафедры теории литературы и русской литературы XX века
СТРАШНОВ Сергей Леонидович	доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой журналистики и рекламы
ТАГАНОВА Татьяна Александровна	кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры английского языка
УЖОВА Ольга Александровна	кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии
ФАРХУТДИНОВА Фения Фарвасовна	доктор филологических наук, профессор кафедры современного русского языка и методики преподавания
ХУСНУТДИНОВ Арсен Александрович	доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой современного русского языка и методики преподавания

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
«ВЕСТНИКА
ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»

1. В журнал принимаются материалы в электронном виде на дискете стандартного формата с приложением одного экземпляра распечатки на белой бумаге.

Максимальный размер статьи — 1,0 авт. л. (20 страниц текста через 1,5 интервала, 30 строк на странице формата А4, не более 65 знаков в строке, выполненного в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman или Times New Roman Cyr, кегль 14), сообщения — 0,5 авт. л. (10 страниц).

2. Материал для журнала должен быть оформлен в следующей последовательности: **УДК** (для естественных и технических специальностей), **инициалы и фамилия автора, название материала**, для научных статей — **аннотация** (на русском и английском языках объемом 10—15 строк), **ключевые слова, текст статьи** (сообщения).

3. Библиографические источники должны быть пронумерованы в алфавитном порядке, ссылки даются в тексте статьи в скобках в строгом соответствии с пристатейным списком литературы. Библиографическое описание литературных источников к статье оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-84.

4. Фотографии, прилагаемые к статье, должны быть черно-белыми, контрастными, рисунки — четкими.

5. В конце представленных материалов следует указать полный почтовый адрес автора, его телефон, фамилию, имя, отчество, ученую степень, звание, должность. Материал должен быть подписан всеми авторами.

6. Направление в редакцию ранее опубликованных и принятых к печати в других изданиях работ не допускается.

7. Материалы, представляемые к публикации в журнале, должны пройти научную экспертизу и сопровождаться положительной рецензией.

8. Редакция оставляет за собой право осуществлять литературную правку, корректирование и сокращение текстов статей.